ЕЛЕНА ГАБОВА

Тайкина тайна



Сыктывкар
Коми книжное издательство
1991



ЕЛЕНА ГАБОВА

Тайкина тайна

Повесть и рассказы

84Р7—4
Г 12

Г $\frac{4803010201-055}{М 128(03)-91}$ 36—91 м

ISBN 5-7555-0274-9

И отец мой,
и мама моя

повесть



Семейка у нас что надо. Я расскажу, вы только не падайте в обморок.

Мне четырнадцать лет, я живу с папой. А мой брат Мишка живет с мамой, ему всего-навсего восемь.

Мы с папой живем на Севере, в городе Лемью, а мама с Мишкой — в деревне Солнечной у Азовского моря.

Мы с папой живем одни, а Мишка — с мамой и дядей Женей. Летом там еще будет дядь-Женина дочка, семилетняя малявка. Она приедет к своему отцу из самой Москвы, где живет со своей матерью. Мой брат Мишка летом тоже прикатит на каникулы к папе. Мы с Мишкой поменяемся, я полечу к маме. Я считаю, что мне лучше, все-таки каникулы у моря гораздо привлекательней.

Так вот все перепутано. Никто не разберет, что, зачем и почему.

Еще год назад мы жили нормально, одной семьей — мама, папа, Мишка и я — на Севере, в Лемью. Теперь даже не верится, что так было.

Мама с Мишкой ездили в отпуск на юг (я тогда отдыхала в пионерском лагере), и мама вернулась оттуда какая-то чудная. Нас с Мишкой как будто не замечает, а больше всего не замечает папу. Все молчит. Окликнешь ее, она не услышит. Думает о чем-то своем.

И еще у нее особая страсть к чистоте появилась. Никогда я не видела, чтоб она так рьяно все мыла, скребла и стирала. Прямо бзик какой-то на маму напал. Меня каждый день пилила:

— На стуле у тебя что за склад? Повесь все сейчас же в шкаф! А на столе что? Приберись, пыль вытри.

Дома ни пылинки не стало, жуть. Мишка с прогулки вернется, перед ним таз ставится — мой обувь.

Ну ладно, это пережить можно. Папе даже нравилось. Ему не нравилось вот что: подойдет он к маме ее обнять, а она толкается и тихо просит:

— Не надо.

— Почему?— злится папа.

— Я устала.

Дошло до того, что он к маме вообще перестал подходить.

И еще мама стала почтой интересоваться. Раньше, когда занесут газеты, тогда и хорошо, а тут она два раза проверяла почту, и все сама, мне не доверяла. Это в выходные. А в будние дни с работы придет, сразу спрашивает: письма есть? Но ничего не было.

Потом мама уехала в командировку, а через неделю, когда она уже должна была вернуться, пришла телеграмма: «Задерживаюсь, когда буду, не знаю».

Очень странная телеграмма. Ну задерживаешься по делам, бывает. Но как это: «Когда буду — не знаю».

Еще через три дня папа письмо получил и после него стал какой-то ненормальный. Я его таким никогда не видела. Сидит на диване, шариковую ручку в пальцах крутит, в одну точку уставился. Лицо какое-то отрешенное. Я телевизор включила, он как закричит:

— Выключи!

— Почему? Я фильм хочу посмотреть.

— Выключи, я сказал!

Я пожала плечами, выключила и ушла.

Утром перед школой в его комнату заглянула. Он так же на диване сидит с той же ручкой в руках и спит нераздетый.

Несколько дней после письма он не ел, только чай пил и то через силу. И спал в одежде. На нас с Мишкой только орал, мы уж перед ним на цыпочках ходили, шепотом разговаривали, как будто в доме больной появился.

Конечно, я догадалась, что письмо было нехорошее. Нам с братом папа его не дал прочесть. Всегда давал, и всегда мама писала всем: «Здравствуйте, мои дорогие!» Адресовывала папе, а обращалась ко всем. Когда я ТО ПИСЬМО из почтового ящика вытащила, то хотела его даже раскрыть. Не знаю, что меня остановило.

Еще через неделю мама пожаловала. Какая-то новая, помолодевшая. Ресницы у неё накрашены и губы. А ведь раньше она не красилась.

Приехала мама вечером. В глазах какая-то настороженность и даже, по-моему, робость. Папе с порога сказала:

— Надо с тобой поговорить.

— О чем?— спросил папа с ухмылкой.

— О дальнейшем... О детях.

— Делай как знаешь,— сказал папа.

Взял свои рабочие бумаги, оделся и ушел. И не показывался дома все время, пока мама была. Не знаю, где ночевал. Мы за него беспокоились, мама тоже. А Мишке наврали, мол, теперь папа в командировке.

Три дня мама собирала свои и Мишкины вещи. Запаковывала их в посылки, шла на почту и куда-то отправляла. Потом взяла чемодан, Мишку и улетучилась.

Мишке что? Еще маленький. Ему сказали, что он на время к морю поедет, он и радёшенек.

А со мной был разговор. Серьезный. Я не Мишка. Да мне этот разговор пересказывать неохота. Так, мура какая-то. Она, мол, кого-то там полюбила, папу разлюбила, поэтому уезжает. Тут же договорились: на летних каникулах я приеду.

Я вообще-то бы тоже не отказалась поехать с ней, как Мишка. Но меня не позвали. Наверно ее новому мужу такая дылда, как я, ни к чему.

Да нет, что это я? Что болтаю? Как бы я папу оставила?

Мишка, как только все понял, начал проситься к папе. Мама мне об этом в каждом письме писала. Мол, еле уговорили его закончить учебный год. Уже после первомайских праздников Мишка рюкзак собрал.

В назначенный день июня я самолет встречаю, а Мишки с незнакомым дядей Женей нет и нет. Все пассажиры вышли, уже и багаж взяли, а их нет, и все тут.

Я уже уходить собралась: наверно в последнюю минуту они лететь передумали. Потом смотрю — со стороны лётного поля появляются еще двое. Какой-то бородатый дядька с мальчишкой на руках. Мальчишка Мишкиного возраста. Голову на дядькино плечо положил. Дяденька молодой, лет тридцати пяти. У него светлая бородка и темные волосы до плеч. Одет он в потертые-препотертые джинсы. Вид у него был хипповый, что и говорить. Он на какого-то художника походил. А мама перед отъездом говорила, что ее дядя Женя — художник.

Я сразу поняла, что это они и есть. Мальчишка на руках — мой брат.

Я с неприязнью подумала, что новый мамин муж — красивый. Бежать ему навстречу было много чести, хотя я и тревожилась за Мишку — чего он на руках-то?

Когда они поравнялись со мной, я заглянула мальчику в лицо и крикнула:

— Мишка!

— Привет, Марин,— Мишка слабо улыбнулся и сполз с рук бородатого.— Спасибо, дядь Жень.

— Что с ним?— спросила я у мужчины.

— Плохо Мишка самолет переносит,— ответил он.— А ты, значит, Марина. Привет!

Я чуть было тоже не сказала: «Привет!» Уж больно новый мамин муж на дядю не походил. Парень и парень.

— Здравствуйте,— поздоровалась.

Сели мы втроем на скамейку. У Мишки на лбу капельками пот выступил. Умаялся, бедняга. Мишкину болезнь я хорошо знала. Однажды летели мы все вместе к морю, Мишка чуть не умер. Все пять часов его рвало. Прямо жутко на него глядеть было.

Я взяла у дяди Жени бирку, сходила за рюкзаком.

— Может, вас с Мишей до дома проводить?— спрашивает дядя Женя.— Рюкзак тяжелый, там мама варенье положила. Михаил слабый.

— Не надо,— отвечаю я.— Вдруг нас папа встречать выйдет.

— Боишься — побьет меня?— усмехается дядя Женя.

— Папа не побьет,— вдруг выступает мой умирающий брат.— А я бы побил на его месте.

Дядя Женя улыбнулся.

— Вы извините, дядя Женя,— опомнился Мишка.

Дядя Женя встал, подошел к стоянке машин и договорился с каким-то частником, и нас очень здорово подвезли до самого подъезда.

Смешно сказать, Мишка большой уже, а папе на шею бросился. От полета он уже отошел. Стал целовать папу в щеки и уши — куда попадет. А папа ему сразу все планы выкладывает:

— Ну Мишка, ну молодец. Да я сейчас в отпуск выйду, и мы с тобой на машине рыбачить, знаешь, куда поедем? Аж на самую Сылву — за хариусом! Да я тебя, Мишка, машину научу водить, вон ты какой у меня парень вымахал!

А Мишка папе свой дневник с пятерками волокёт, прямо чудо в перьях мой братец. Как будто пятерки какую-то роль играют. Сейчас главное, что мы все вместе, нам радостно видеть друг друга. Мишка, шельмец, правда, вырос, а волосы длинные! Почти как у этого дяди Жени.

— Мишка, в парикмахерскую сходи,— советую я.— Я тебя завтра сама свожу.

Мишка со всем соглашается.

Пожила я с ними неделю, всякими вкусностями их кормила, пироги в честь Мишки пекла — меня мама научила. А потом к ней улетела. Одна, разумеется, я человек самостоятельный. Дорога прошла нормально, только в аэропорту, уже там, на юге, мою сумку чуть один парень не утащил. Хорошо, что я вовремя обнаружила. Жарко было, думаю, умоюсь, сумку открыла, чтоб полотенце достать, гляжу — там колбаса в целлофановом пакете, а снизу мужская куртка на молнии. Я перепугалась, скорей на улицу выскочила, на остановку автобусную. Гляжу — моя сумочка мелькнула, кто-то с ней в автобус лез. Я «не свою», точно такую же, сумку на землю поставила и к автобусу подлетаю. Хватаюсь за сумку и тяну к себе что есть силы.

— Ты что, чокнутая?— закричал парень, который эту сумку держал.— Отцепись!

— Освободите задние двери,— сказал по микрофону водитель, и пришлось парню на остановку выпрыгивать.

Автобус ушел, а парень меня чуть не треснул. Я поскорее выложила:

— Ты мою сумку уволок!

— Это мой чемодан,— ответил он уверенно.

— Твой? Твой, неужели?— я вырвала из его рук сумку, раскрыла молнию, а там, прямо сверху, мое белое летнее платье.

Парень присвистнул и почесал затылок.

Был он высокий, темноволосый. Лицо и руки уже успели загореть. На носу сквозь загар виднелись веснушки.

— А где ж тогда мой чемодан?

— Да вот стоит,— показала я на брошенную у фонаря сумку.— Забирай, не жалко.

Поставил он свою сумку рядом с моей. Смешно — одинаковые, в красно-синюю клетку. Называется, в разных концах страны покупали. Что парень не из нашего города — это точно, я ведь через Москву летела, прямого самолета от нас до Мелгорода нет.

В деревню Солнечную, объяснили, ходит двенадцатый автобус. Жду этого двенадцатого. И парень ждет. Серьезный, на меня уже не смотрит. Мне смешно, что такая катавасия с сумками получилась, смешно на одинаковые сумки глядеть, а он словно забыл все.

Подошел автобус. Я вошла, смотрю — и парень тоже входит. Мне еще смешней, я прыснула, а он серьезный, аж жуть. Поглядел на меня снисходительно и говорит:

— Что-то мы таких не знаем.

— А мы — таких,— отпарировала я и села на сиденье впереди. А он где-то сзади сел. Сидим в разных углах и на каждой остановке переглядываемся. Я жду, что он наконец-то выйдет, он — что я. Так вместе до Солнечной и доехали. Если бы знать, что такое дело, могли бы и тут сумками поменяться.

Так мне с этим мальчишкой познакомиться захотелось — сил не было. Сейчас, думаю, подойду и спрошу, как его звать. Но я боялась, что он не ответит, сгорай потом со стыда. У него, видно, не было ни малейшего желания со мной знакомиться. Вышли мы из автобуса и разошлись в разные стороны. На прощанье он взглянул на меня и хмыкнул — мне показалось, презрительно.

Летом я его, конечно, в деревне встречала. Гонял на мотоцикле с другими парнями. Голый до пояса, загорелый. А нос все равно в веснушках.

Как-то на море пошла, а он на дороге в мотоцикле ковыряется. Что-то у него там сломалось. Хотела ему «привет» сказать, но опять побоялась. А вдруг не ответит. Может, он шибко гордый. Есть же такие — воображают из себя бог знает что. Прошла мимо, даже не взглянув. Слышу, он вслед говорит:

— Ах, какие мы гордые...

И через пять минут с грохотом рядом промчался. Даже удивительно, как меня не задел. Хвост пыли за ним, я закашлялась.

Тоже мне, рокер.

В Солнечной я только с одной девчонкой познакомилась — Галей, она по соседству жила. Она говорит, что Телега — это у рокера фамилия такая — главный кавалер на танцах. Самый, мол, симпатичный. И не пьет. Другие парни, сказала Галя, здесь здорово «поддают», даже школьники, старшеклассники.

Только этот «главный кавалер» ни с кем не танцует, стенку подпирает. В шлеме мотоциклетном, как космонавт.

Галя и меня на танцы тащила, и не раз, да я не шла. Не люблю я танцы под роковýю музыку. Я ее так и называю — рокова́я. И мама меня в клуб посылала, да все без толку. Все лето я читала и еще рисовала немного. А читала Тургенева. И как он мне раньше не попадался, ведь у нас дома был. А тут как взяла у мамы в библиотеке «Рудина», так и влюбилась и потом все перечитала. Там у него девушки молчаливые и возвышенные, что ли. Забыли все это слово «возвышенные», а я хочу сама такой же быть. Не ругаться, не обращать внимания на пустяки. Несовременно? Ну и что?

И еще почему-то его героини влюблялись в людей много старше себя и я все думала — почему так? Почему им были ровесники неинтересны? Ведь и мне так же. Я вспоминала своих одноклассников. Какие они все несерьезные. Говорят только о ерунде. Проблемы у них детские, даже не детские, а женские: что и где купил. И по сколько. Ну, еще про кассеты с магнитофонами.

И этот тоже, Телега. Гоняет на мотоцикле и все. Правда, это вечерами, днями он где-то работает.

Я уже говорила, что дядя Женя — художник. Он маринист. Рисует лишь море. Всем известно, Айвазовский был маринист, вот и дядя Женя тоже. Мама говорит, что его картины не пользуются спросом, а мне они нравились. Они у него на чердаке. Там в крыше проделано окошко, и есть одна нормальная, ровная, стена. На этой освещенной стене висят четыре небольшие картины. Море на них изображено с одного и того же места, а картины все разные — из-за цвета. Одна мне особенно по душе. Море на ней какое-то лоскутковое: зеленый лоскут, синий, желтый и даже небольшой кусок черного. А я видела такое море. С высокой кручи, когда солнце одним боком уже закатывается за горизонт. Тогда оно, правда, почему-то здорово разноцветное.

Еще много дядь-Жениных картин стояло на чердаке изнанкой к стене. Море разное-разное, и нигде нет серого.

Я когда узнала, что картины дяди Жени не раскупаются, сразу у мамы спросила: на что же они живут? Что ли на мамину зарплату? Мама работала в деревенской библиотеке и получала немного. У нас на Севере она тоже работала библиотекарем, но ведь там платят северные, а тут... Проживешь на ее зарплату, как же.

— Не беспокойся, Марин,— засмеялась мама.— Он музеи оформляет, кафе. За это хорошо платят.

— Какие же здесь музеи и кафе?— удивилась я.

— А он в разных городах работает. Зимой дома три месяца не был — музей писателя в Севастополе оформлял. Так что иногда мы даже богатые.

Сам дядя Женя своими картинами тоже не дорожит. Однажды на берегу я подошла к нему из-за спины — посмотреть, как он рисует, а его спина, ну просто не знаю, какая чувствительная. Я ведь по-кошачьи подкралась, и глядела не дыша, а он все равно обернулся.

— А, это ты. Привет!

Когда он «привет» говорил, мне изо всех сил приходилось сдерживаться, чтоб ему так же не ответить. Неудобно, все-таки мамин муж.

— Здравствуйте.

— Хочешь порисовать?

— Нет, что вы.

— Вижу, что хочешь. На!

И он дал мне колонковую кисточку. У него куча этих кистей, разных размеров. На этюднике — снова море, вода прозрачная-прозрачная и солнце ее насквозь просвечивает. Небо чистое-чистое.

Сначала я с этой кисточкой здорово струсила. Зачем он мне ее всучил? Чтоб его работу портили?

А потом думаю: была не была, если испорчу, то пусть. Он мне еще не то должен.

Помалевала кисточку краской и поверх голубоватого неба белым мазнула. Ерунда получилась просто жуткая, как будто кусок ваты прилепили. Я сразу кисточку выбросила и гляжу на него со страхом: сейчас закричит!

А он улыбнулся, взял мою кисточку, к «вате» мазок, другой добавил, гляжу — облако по небу плывет. Легкое, тоже прозрачное.

После этого мне тоже захотелось рисовать, хотя бы попробовать. Купила я в деревенском магазине альбом, кисточку для клея, но другой не было (у дяди Жени не стала просить, да ну, не хочу), акварельные краски, восковые мелки. Словом, вооружилась, и стала все это на море таскать.

Почти каждый божий день за мной увязывалась дядь-Женина дочка. Ее очень смешно зовут: Муська. Я сначала удивлялась, что за имя такое, прямо коровья кличка. Мама потом объяснила, что это сокращенно от «Маруси», «Марии».

Так и звали бы ее по-человечески. Я однажды назвала ее «Машей», так она на меня вытаращилась, и важно сказала, что никакая она не «Маша»,а «Муся». Ничего, в школу пойдет, узнает, какая она Муся. Задразнят, если учительница не сумеет ей вразумить, что она — Маша, Мария, Машенька.

Однажды лежим на пляже, я море в альбом зарисовываю.

Море, а на его фоне старые, перевернутые вверх дном баркасы, из них уже трава вылезает.

И Муська эта меня спрашивает:

— Тебе, Марин, с кем лучше жить — с папой или мамой?

Я-то знаю, с кем мне лучше, но предательством заниматься не буду.

— С папой лучше,— отвечаю.

— Мне тоже — с папой,— Муська вздыхает.— И здесь. Я Москву не люблю, там домов много и машин. Мне нравится здесь — с папой и еще с моей мамой.

«Ишь ты, малявка,— подумала я.— Разбирается. И мне тоже — с папой моим, и с мамой. И все равно где — здесь или в Лемью. Или даже в Москве. Только бы всем вместе».

Муська помолчала немного, ноготь на большом пальце погрызла, а потом выдала:

— Марина, почему твоя мама моего папу отняла?

Я карандашом чуть ей в лоб не залепила. Моя мама ее папу отняла!

— А может, наоборот?— ехидно спрашиваю.— Может, это твой папа мою маму отнял?

— Нет,— Муська вздыхает.— Моя мама говорит, что виновата та гадкая женщина.

— Моя мама — гадкая? Ах ты, паршивка! Я твоего отца гадким не называю! Кыш отсюдова!

Муська отползла от меня на брюхе, лежит на песке, в море уставилась. Глаза тоскливые, как у побитой собаки.

Жалко мне ее стало.

— Эй ты, кикимора,— говорю,— скажи, моя мама тебя обижает?

На пляже под кручей ни души, поэтому можно о чем хочешь калякать.

— Нет,— девчонка головой покачала.— Нет, тетя Лиля хорошая.

— Ну вот. Какая же она гадкая женщина? Просто они с твоим папой полюбили друг друга.

— Моего папу все любят,— хвастается малявка.— И мама его любит, поэтому она на меня кричит. Она по нему скучает, я знаю.

Бедная кроха. Я с пониманием на нее посмотрела. А потом мне захотелось ее зарисовать. Волосики серенькие, сосульками висят от морской воды. Глазки большие, грустные. Синие, как у дяди Жени. Ротик маленький, а когда улыбается, такая делается смешная — двух зубов спереди не хватает, сразу видно: будущая первоклашка.

— На меня папа тоже кричит,— говорю, чтоб ее успокоить.

Он здорово кричит, когда злится. А злится он теперь по любому поводу, просто все время злой. Забуду свет выключить — кричит. Цветы не полью — кричит. Посуду не помою — снова кричит. Я так за эту зиму устала, просто ужасно. Теперь ведь все почти на мне — и ужин, и посуда, и стирка.

Папа тоже готовит, но редко. Говорит, приучайся, ты уже большая, это женская доля и всякое такое.

Женская-то женская, но ведь у меня же еще школа, и бассейн, и подруги.

— Марин, дай порисовать,— попросила Муська. Я отдала ей альбом и села, обхватив колени руками.

Море. Какое оно тихое. Ни одной рябинки на воде. А на небе ни облачка. Какое согласие между небом и морем. Было бы такое же между людьми. Между родителями.

Если честно — мне не хочется отсюда уезжать. И дядя Женя был бы не против, если б я осталась. Мне почему-то так кажется. Он ко мне хорошо относится. Я ведь все-таки живу в его доме, причиняю какие-то неудобства. А он мне ни слова, ни полслова. Плохого, разумеется. По-хорошему он со мной говорит.

А папа меня дома перестал замечать. Вечером спросит, как в школе, и все. Ужинаем, потом он телевизор смотрит. В субботу-воскресенье уезжает на машине на дачу. Говорит:

— Марин, ночевать не жди,— и уезжает.

Однажды мне захотелось тоже на дачу, поехала в воскресенье на автобусе, а на даче — замок. Пришлось в город возвращаться. Вечером, когда он заявился, я спросила где он был, он закричал:

— Не твое дело!

Не мое так не мое, я не против. Только зачем врать-то?

— Марин, я был у друзей,— сказал папа позже извиняющимся тоном.

— Так бы и говорил,— сказала я.— И кричать совсем не обязательно.

Больше я на даче не появлялась. Подумает еще, что проверяю.

Деревня стоит не совсем на берегу моря. Километра два надо шагать. Но разве это расстояние летом? Тепло, кругом степь, в небе звенят жаворонки, в траве трещат кузнечики, которых мне почему-то хочется называть «жаворонками травы».

Идем утром с Муськой, за руки держимся. Она мою руку раскачивает и к небу подбросит. Снова раскачает и снова подбросит.

— Марин, ты как будто моя сестра, да? Моя сестра, да?

— Тебе, что, очень хочется?

— Да. Ты красивая.

— Кто это тебе сказал?

— Папа тете Лиле говорил: твоя дочка красивая.

— Моя мама красивая, а я вот ни капельки. Я себе, Муська, уродкой кажусь.

— И я уродка. Правда уродка?

— Ты не уродка, глупая. В кого тебе уродкой быть? Папа вон какой симпатичный. И мама, наверно, тоже.

Конечно, она красавица. Разве художники на некрасивых женятся?

Две женщины мимо нас на велосипедах прокатили. Они тут на

великах запросто ездят. Платья, сарафаны, туфли какие-то рабочие, и крутят педали. Разговаривают. А в степи голоса далеко разносятся.

— ...Малая — то его дочь. А высокая — то ее.

— Такая большая? Так сколько ж евонной жене лет?— И голоса унеслись.

Обсуждали нашу семейку всей деревней, да еще как! Сколько раз меня расспрашивали. В магазин пойдешь, обязательно кто-нибудь останавливал:

— Ты, девочка, чьих будешь? А-а, приезжих дочка. А чья — его или ее? А мальчик — он чей? Его или ее? А-а, твой брат. Родной! А отец у вас с мальчиком есть? А где он живет?

Хотелось рот зажать и ни с кем не разговаривать.

Муська мне весь альбом изрисовала. Накалякает что-нибудь посредине листа, бровки нахмурит: «Не получилось». И на другой лист переворачивает. Я купаться пошла, она альбом бросила, и за мной. Как крокодил улеглась у берега и ползет. Серьезная, личико даже какое-то горестное. Не брызжется, не хохочет. В трусики песок набивается, приходится ее потом полоскать.

— Привет девицам!— с этюдником в руках на берегу появляется дядя Женя. В шортах, в футболке, краской заляпанной. Мой папа никогда бы не позволил себе так вырядиться, а этот... Загорелый, с бородой, волосы по плечам распущены. Хипарь хипарем. Девчонки наши с класса всегда за такими тащатся. Да, он современнее папы, что уж тут говорить, он художник, а папа обыкновенный инженер, что уж тут говорить.

Да, моя мамочка правильно выбрала, но ведь папа тоже человек, разве ж можно бросать человека за то, что он не такой современный?

Я с неприязнью смотрела, как дядя Женя раскладывает этюдник. Ноги у него ровные, как у женщины, совсем не волосатые. Художники, наверно, все красивые.

Я скучно от него отвернулась. Вылезла из воды и легла на песок. Муська уже около отца прыгала.

— Папа, папа! Писать будешь? Море? А меня, а меня напишешь?

— Конечно, Мусенька, ты же для меня центр Вселенной.

Муська победно на меня оглянулась: слышу я или нет.

Я сделала вид, что не расслышала.

— Папа, посмотри, что я нарисовала!

Муська ему альбом со своими малякамн приволокла. Он ее похвалил, конечно, потом стал мои рисунки разглядывать. Особенно один — Муськину головенку, которую я только что зарисовала. Мокрые волосики-палки, обиженный маленький рот, вот-вот расплачется. Долго он этот рисунок изучал, потом меня спрашивает:

— Марин, у вас в городе художественная школа есть?

— Есть, вроде. Конечно, есть. А что?

— Тебе учиться надо. Есть в тебе что-то этакое. Хочешь, я буду тебя учить?

— Нет,— отрезала я.

Я бы, конечно, не прочь поучиться. Да только не у него. Все-таки была у меня на дядю Женю большая обида. Ведь если б не он, жили б мы по-прежнему вместе. Дома, в деревне, я его старалась не замечать. Как будто и нет его вовсе. Ну подумаешь, я в его доме живу. Он мою маму украл, а я с ним церемониться.

— Ну гляди,— сказал дядя Женя, по-южному, по-здешнему, выделяя звук «г» и весело на меня посмотрел.

— Да, Марин, там тебя что-то мама звала.

Я молча встала, сложила в сумку свои рисовальные причиндалы, взяла под мышку одеяло и ушла с пляжа.

Домик наш на отшибе деревни. Крохотный такой, в две комнатки. Без кухни, без удобств. Хлипкий уже, крыльцо подгнило, две доски провалились. Забор — одно название, все штакетники выломаны. И дядя Женя ничего не чинил. Не умел, наверное.

Вот мой бы папа... Он бы тут все переделал.

Что хорошо — вокруг дома небольшой садик, яблони, вишни. Утром выйдешь, вишен нарвешь на завтрак.

Мама сидела на верхней ступеньке крыльца и перебирала вишни. Перед ней была расстелена газета и стоял бак. Мама кидала на газету черенки, ягоды — в бак, для варенья.

Была мама в светлой косынке, повязанной назад. Сбоку из-под косынки выбивалась прядка волос. За последний год мама похорошела. Я и не представляла, что человек может хорошеть, когда ему за тридцать. Маме вообще никогда не давали ее годы. Незнакомые люди нас с ней принимали за сестер. А сейчас она еще больше помолодела, у нее позеленели глаза и еще — она перестала стричься. В городе она всегда под мальчишку стриглась, ходила, как воробей. А сейчас волосы у нее выросли и красиво вились.

— Присаживайся, Марин,— сказала мама.— Ешь вишню.— Она сунула ягоду себе в рот.— Ты такой сладкой еще не пробовала.

Я ела вишню и почему-то вспоминала папу и Мишку. Вот бы они тоже попробовали эту вкуснятину. А то знаю, что им это недоступно, и самой как-то не очень вкусно.

— Сварим варенье, домой отвезешь,— сказала мама.

Ох, только не это!

В Мишкином рюкзаке, когда он домой приехал, оказалось две банки вишневого варенья. Я его к чаю выставила. Папа увидел, побледнел:

— Миша, это тебе мама дала?

— Мама.

Папа, не говоря ни слова, взял эти банки и вышел. Через минуту мы с Мишкой услышали, как банки загремели в мусоропроводе.

— Маме не проговорись,— сказала я.

— Конечно!— Мишка сделал большие глаза.

И сейчас я маме ничего не сказала, но подумала, что если мама даст мне варенье, придется оставить его на вокзале.

Я стала помогать маме, но почти сразу же бросила. Да ну, пусть сама для своего художника старается, я еще буду.

— Марин, ну расскажи, как вы там с папой живете.

Интересно, что она, вечером не могла спросить, обязательно надо было с пляжа позвать? Правда, вечером Муська под ногами крутится, и дядя Женя тут же. Нет, днем, конечно, удобнее. Сейчас мама в отпуск вышла, самое время поговорить.

Мне почему-то захотелось плакать. Сглотнула комок в горле и ответила сдавленным голосом:

— Нормально живем.

— Папа как?

— Нормально папа.

— Бабушка хоть приходит?

Я кивнула.

— Редко. Чаще я к ней хожу.

— Ругает меня?

— Да,— прошептала я.

Маму ругали на каждом шагу. Что, мол, ей надо было? Муж — каких поискать, не пьет, не курит, всю зарплату тащит домой. А какой хозяин! Золотые руки! И квартиру отремонтировать, и смастерить что — все сам. И дачу-то он отгрохал, и машину-то он купил. Всегда таким золотым не везет. А эта, стерва, с жиру сбесилась, на всем готовеньком, хахаля себе завела... Нет, маме здорово доставалось. Особенно ругали ее пожилые соседки. Они целыми днями на улице лясы точили. Как солнышко начнет пригревать, так они и выползают. И чуть меня или папу увидят, сразу мою маму вспомнят. Противно их было слушать. Я даже однажды заорала на них:

— Не суйтесь не в свое дело! Моя мама — хорошая, а вы — сплетницы!

Их это еще и возмутило.

— Ты, поди, недалеко от своей мамы откатишься,— сказала одна, ее ребята Кривулей называли, ноги у нее ужасно кривые.

— И прекрасно, если недалеко!— крикнула я и скрылась в подъезде.

Теперь они меня вслух боятся жалеть. А как папу увидят, шеи повытягивают, словно гуси-лебеди, и начинают причитать как по покойнику:

— Ах, мужчина, ай, красавец, а та стерва,— и все идет по сотому кругу.

На моего папу уже и охотники находились. Охотницы. Сорок лет — разве для мужчины возраст? Однажды весной в дверь позвонили. Я открываю, а там стоит симпатичная такая женщина. Малость растерянная.

— Папа дома?— спрашивает.

— Нет, в гараж пошел.

— А ты Марина?

— Марина,— сухо так отвечаю, но она не сердится, терпит.

— Мариночка,— говорит и слегка смущается,— хочешь, я помогу тебе в квартире прибраться?

Я чуть не села. Я и при маме-то всю квартиру сама убирала, а уж сейчас...

— Вас папа просил?

Женщина замялась.

— Нет, я по собственной инициативе.

— Никакой и-ни-ци-а-тивы не надо,— четко произнесла я.— Мы с папой сами справляемся.— Я хотела уж дверь захлопнуть, но не решилась, все же ухоженная такая тетя, подкрашенная, конечно, не без этого, но видно, что и без краски она тоже ничего. И молодая, моложе мамы, лет двадцати семи.

Я сразу поняла, что она к папе клеится.

— Ну до свиданья тогда, Марина,— смущенно сказала тетя. Ее голос и весь вид был какой-то разочарованный, может, она думала, что я приглашу ее войти, а я не пригласила.

— Ты решила в девятый?— спрашивает мама.

— Да.

— А может, недалеко отсюда в техникум поступишь? В Мелгороде есть неплохие.

— А папа?— я зло сощурилась.— Папа пусть один остается? Ты его предала, теперь я предам?

Я закричала совсем неожиданно. Совсем это не входило в мои планы — маме грубить. Я же по ней соскучилась! Мне же с ней хорошо!

— Маринка ты моя, Маринка!— Мама обняла меня одной рукой, не касаясь ладонью — она у нее была в вишневом соку.— Разве ты, глупышка, не видела, что мы с папой давно не любили друг друга.

— Это ты, наверно, не любила,— буркнула я.— А он любил.

— Нет,— тихо сказала мама.— И он не любил. Мы друг друга не замечали, были чужие.

— Чего же он теперь всех баб сторонится?— я так грубо и сказала «всех баб».

— Значит, еще не встретил свою.

— А ты, значит, хочешь, чтоб встретил?

— Хочу,— сказала мама.— Я хочу, чтобы у него все было хорошо.

— А я? Со мной что будет?— я опять начинала злиться.— Ты вон у Муськи хорошая мачеха, а какая мне попадется?

— Во-первых, я ей не мачеха. У Муськи есть мама, которая дочку ни за что не отдаст.

— Вот и правильно,— буркнула я.

Мамы и не должны детей отдавать. Никому. Никогда. Почему она меня отдала? Папа папой, а мне все же с мамой моей очень хо-

чется. Когда меня на суде спросили, хочу ли я остаться с папой, я сказала «да, конечно», разве можно было ответить иначе?

Ой, о чем это я думаю? Разве можно? Ведь я люблю папу, очень люблю, но и маму я люблю тоже... А о чем думается, о том и думаю, я не виновата, что так думается.

— ...Во-вторых, у тебя тоже есть мама,— донесся до меня мамин голос.

— Ну да! Вы же нас поделили!

— Ну и что. У тебя есть мама, и всегда будет, дурочка ты моя. Я не могу тебя к себе взять, потому что мне папу жалко, ведь ты понимаешь.

— Я и сама его не брошу.

— Вот видишь. Ты умница. Как в школе?

— Нормально.

— Троек нет?

— За экзамены — нет, в дневнике за год — по географии.

— География! Что, сложный предмет?— мама посмотрела на меня с укором.

— Сложного нет, учительница дура. Да ладно, мама, это не важно. В девятый меня берут. Может, из жалости,— я ухмыльнулась.

Эти учительницы! Иногда ловлю на уроках их жалеющий взгляд. Ну как же — девочка без мамы растет, мама их с папой бросила. Иная еще и вздохнет горестно. Мне тогда из класса выскочить хотелось. Какое им дело до того, как мы живем? Чего они лезут в душу! Классная иной раз отзовет в сторонку: «Марина, тебе помочь в чем-нибудь надо?»

У, ненавижу! Тетка раз из родительского комитета домой приперлась. Все комнаты обсмотрела, головой покивала: «Хорошо у вас, хорошо. Чистенько». А потом — бах!— перед папой на стол двадцать рублей выложила.

— Это Марине от нас материальная помощь.

Она умотала, а я у папы спрашиваю:

— И что мне с этими бумажками делать?

Папа плечами пожимает, смеется.

— Не знаю. Купи на них конфеты.

— Которых нету... Пап, зачем ты их взял?

— Ну а что мне ее, обижать прикажешь? Принес человек от чистого сердца... Школьную форму на них купи.

— Папа! Да я этот мешок больше ни в жизнь не куплю! Доношу это платье — последний год, учти, и выкину. Себе сошью красивое.

— Вот и сшей на эти деньги.

— На них не сошьешь, на них даже ткань не купишь.

— Ну, Марин, я не знаю, деньги твои, ты и распоряжайся.

Я их кинула в ящик стола, а потом они по мелочам распылились. Сначала гордо вернуть хотела, а потом распылились.

— ...Что ж, тебя в школе жалеют все?— спросила мама.

— Еще бы! Брошенное дите!

— А ты не разрешай им себя жалеть,— сказала мама.— Жалость — не самое лучшее.

— Я и не разрешаю.

«Значит, потому ты меня не жалеешь?» — снова хотелось закричать мне, но я сдержалась.

Разговор получился странным. Мне все время, все время тянуло ей нагрубить. Чтобы этого не случилось, я поднялась с крыльца и направилась в глубь сада.

Мама желает, чтобы отец скорее женился. Эта мысль не давала мне покоя. Раньше я как-то не думала, что мой папа очень даже запросто может жениться, ведь теперь развод между ними оформлен. За год я привыкла, что мы с ним вдвоем да вдвоем, лишь по субботам и воскресеньям я одна или со своей подругой Алиной. Она в нашем доме жила, на втором этаже. Я ее ночевать приглашала, чтоб одной не скучать.

Женится папа — что я тогда буду делать? Одно дело, когда родной отец на тебя прикрикнет, другое — мачеха. Вдруг попадется крикливая? Что тогда — грубить ей на каждом шагу?

В саду тиликали какие-то пичужки. Потом Муськин голос раздался — они с отцом с моря вернулись. Тоненький у нее голосок, как у птички. Беззащитный. Потом послышался такой же беззащитный, жалобный голос скрипки — Муська на ней играть училась, каждый вечер пиликала.

Хорошо, что Муське повезло. Моя мама ее никогда не обидит. Правда, Муське от этого не легче. Ей своя мама нужна.

Незаметно пролетели каникулы.

В Лемью меня папа с Мишкой встретили. А загорели! Не хуже, чем я на море. А худые! Словно одной речной водой питались.

— Приветик, Мишка! Приветик, папа!— поцеловала обоих. Идем втроем по улице, я в середине, папа мою знаменитую сумку тащит. Оба меня за руки держат. Мишка улыбается — кончики губ аж к уголкам глаз подъехали. В футболке, в шортах. Ножки тоненькие, прямо Буратино. Недавно ему девять исполнилось. А я в деревне свое пятнадцатилетие отметила.

— Вам от мамы огромный привет,— передаю, как велено.

— Спасибо,— один сказал.

— Спасибо,— другой.

— А ты к маме собираешься?— у Мишки спрашиваю.— Собирайся. За тобой через неделю прилетят.

— А я никуда не поеду,— говорит Мишка.

Я посреди дороги прямо остолбенела.

— Как не поедешь?

— Очень просто, Мариночка. Ни на самолете, ни на поезде, ни

пешком, ни с каким дядей Женей, ни с мамой, ни с Муськой твоей. Не хочу.

— Здрасьте.

— До свиданья, Мариночка.

Двинулись дальше. Папа молчит. Настроил Мишку против мамы, теперь молчит. Хитрый какой.

— Значит, ты к маме не хочешь?

— Не хочу.

— А она тебя ждет.

— Пусть ждет.

— Ты что, ее не любишь?

Мишка чуть не заревел. Остановился, ножки на тротуаре расставил, голову нагнул, ну вылитый упрямый бычок.

— Понимаешь, Марин, я ее люблю, люблю, но ведь папа тоже человек! Я и папу люблю!— в голосе слезливые нотки.

— Ну ладно, вы я тут гляжу, разговорились, я пошел,— сказал папа и с моей сумкой зашагал так, как только он умеет, ни за что не догонишь, как ни старайся.

— И мама человек!— шиплю я на Мишку.

— Она сама уехала, сама! Кто такой дядя Женя, кто?— брат в меня злыми сощуренными глазенками стреляет.

— Тебе лучше знать, кто такой дядя Женя,— говорю я.— Ты ведь с ним жил.

— Да он никто, никто!

— Почему же. Он тоже человек. Художник.

— Но нам он никто, никто!

— А маме нашей — муж.

— А папа наш кто? Не муж?

— Тише ты, на нас все оглядываются. Маме он муж бывший.

— А мне он отец не бывший. И давай больше об этом разговора не заводи. Я с дядей Женей не поеду. Я в школу пойду к своим ребятам. Я уже Вовке сказал, что с ним сяду.

Навезла я своим фруктов. Варенье, как и собиралась, на вокзале в Мелгороде оставила. Папа обычно ни к чему «маминому» не притрагивается, но Мишка его заставил съесть три сливы.

Здорово они тут жили: на завтрак — яйцо, на обед — суп из пачки, на ужин — чай с яйцом вприкуску.

Странно, ведь у мужчин тоже две руки, но приготовить поесть они ничего не могут. Единственно на что папа способен — это сварить и поджарить рыбу, ведь он рыбак. Летом они с Мишкой на рыбе жили, а как папин отпуск кончился, перешли на яйца и пачки.

Принялась я их откармливать. Заставила папу картошку купить. Дача, ясное дело, в запустении, бурьяном все поросло. Круп разных из магазина принесла, муку, и — за дела. Три дня так готовила, что папа с Мишкой пальчики облизывали. На четвертый отдыха запросила. Съели поджаренную папой яичницу.

Скоро должен был прилететь дядя Женя. Я ведь никакой телеграммы не давала. Думала, сумею брата уговорить. Но он, упрямец, слышать ничего не хотел. Не поедет, и все тут. Я даже такую глупость сморозила:

— Понимашь, чудак, ведь нас с тобой поделил суд. Ты, как маленький, остаешься с мамой. Я, как старшая,— с отцом. Тебя очень даже запросто может забрать милиция и отправить маме. Понимаешь? Имеют полное право.

— Неужели мама за мной милицию пришлет?— У Мишки даже голос чуть не сорвался.— Да какая же она тогда мама?

— Да нет, нет,— поскорей его успокоила,— какая милиция, я пошутила. Только ведь, Мишка... Тогда мне надо будет ехать.

А в душе почти возликовала: «Вот это да! Все получается так, как мне мечталось — я буду с мамой!»

— Езжай,— равнодушно говорит брат.

— А как вы с папой? С голоду тут помрете.

— Тогда не езжай.

— А мама? Зачахнет с тоски.

— Возвращалась бы тоже домой,— грустно говорит брат.— Как здорово мы жили без этого дяди Жени. Слушай, Марин...— брат понизил голос.— А почему так бывает? Почему она уехала к дяде Жене? Разве наш папа — плохой?

— А черт их знает, Мишка, как это у них называется. Любовь, говорят.

— Но ведь наш папа хороший. Добрый. Кричит иногда, ну и что? Я, бывает, тоже кричу. Разозлит меня кто — закричу.

— Дядя Женя тоже вообще-то ничего. Тоже добрый. И никогда не кричит.

— Но ведь и папа...

— Слушай, Мишка, спроси что-нибудь полегче.

— Дядя Женя тоже по своей Муське скучает. Ездит в город и посылки ей шлет. Я знаю. Мы однажды с ним в больницу в Мелгород поехали. Так он купил ей книжку и послал. Почему он Муську бросил? Любит, и бросил. Дураки какие-то взрослые.

Что ж. Приготовила в дорогу клетчатую сумку. Забрала документы из школы. Предупредила директора, что уезжаю на полгода, пусть на мое место никого не берут. В нашем «девятом «б» ровно тридцать человек, ни больше ни меньше. Столько же компьютеров в кабинете информатики. Владислав Петрович пообещал никого не брать, но заставил написать заявление: «Уезжаю на полгода по семейным обстоятельствам».

Попрощалась с подругами. Все меня жалели ужасно.

По душам поговорили с папой. И ему жалко было меня отпускать.

— Может, останешься? Мама там не одна.

— Не одна, а подолгу бывает одна. Дядя Женя уезжает на не-

сколько месяцев что-нибудь там оформлять, вот она и одна.

— А тебя там не обижают? Художник этот?

— Нет, папа. Не обижает.

— Хорошо, Марина, поезжай. Только пиши почаще.

— Ну письма-то писать я люблю. Вы только отвечайте.

В назначенный день прилетел дядя Женя. На этом же самолете они с Мишкой должны были лететь обратно. Но Мишка даже провожать меня не пошел. Наверно, он боялся, что дядя Женя тоже будет его уговаривать, а то и силой потащит на самолет. Словом, мой братец позорно смылся. Такой свиньи я от него не ожидала. Думала, в аэропорт вместе пойдем, вместе все объясним.

Стою я одинешенька у ворот на летное поле, откуда прилетевшие пассажиры выходят. Вот и дядя Женя в толпе.

Мы с ним за руку поздоровались, он по сторонам озирается.

— Где же Миша? Сумка есть, Мишки нет. Ты, что, Марин, его в сумку упаковала? — это он так шутит.

— А Миша дома,— беспечно так отвечаю,— сумка едет со мной.

Он даже в лице переменился.

— Ты серьезно?

— Вполне. К маме поеду я.

— Как же так,— дядя Женя растерялся.— Мама ждет Мишу.

— А приеду я,— говорю я весело, а сама чуть не плачу. Меня, значит, она не ждет, а только брата.

— И потом, понимаешь,— дядя Женя мнется.— У меня же билет детский, на Мишу.

— Поменяйте,— бросаю, а в душе скребется, скребется: не надо мне ехать, он же первый не хочет, чтоб я ехала, дядя Женя.

Но ведь я не к нему, я к маме. А он — ничего, перебьется.

— Ну подожди.

Пошел дядя Женя к начальнику смены, потом еще куда-то побежал, уже давно регистрацию объявили.

Возвращается ко мне запаренный, руку протягивает:

— Паспорт, паспорт давай. Скорее!

— Нету у меня.

— Как нет? Как же ты на самолет и без паспорта?

— Откуда я вам его возьму? У нас паспорта с шестнадцати лет.

Дядя Женя себя по лбу хлопнул.

— Ох, извини. Ты такая по виду большая, я забыл. Свидетельство есть?

Побежал в кассу с моим свидетельством. Еле успели на регистрацию.

И вот летим к маме.

Под нами тайга темно-синяя,— ели и уже кое-где желтые пятнышки берез. Приближалась осень, сентябрь. Красиво было.

— На море похоже,— говорит дядя Женя.

Все ему море да море. Как он в Москве без моря жил? Мама

рассказывала, что он женился на москвичке во время учебы — он в художественном училище учился. А сам из Феодосии, но никого у него в Феодосии не осталось, и квартиры, конечно, нет. Он все мечтал обменять Москву на какой-нибудь приморский город, но жена не соглашалась. Потом он познакомился с моей мамой, и на какой-то свой гонорар купил обшарпанный домик у моря. Он и Муську хотел перетащить в этот домик, но Муську из Москвы не отпускали.

В Мелгороде дядю Женю с Мишкой встречала мама. Именно с МИШКОЙ, потому что когда вместо Мишеньки появилась я, мама тоже, как дядя Женя, только гораздо заметней, переменилась в лице. У нее пропала улыбка, забегали глаза, она кинулась к нам с душераздирающим воплем:

— Что с Мишей?

А что такого с ним могло случиться, если я улыбаюсь? Если я улыбаюсь, значит, жив ее Мишенька, и здоров, а прилетела к ней ее собственная дочка, которая не стала бы улыбаться, если б с братом что-то произошло. И зачем маме надо было придавать лицу такой дикий вид, что мне сразу же захотелось обратно в Лемью, а еще больше — к черту на кулички.

— С Мишенькой — ничего, он цветет и пахнет, со мной тоже все в порядке,— сказала я и гордо пошла в другую сторону от мамы. Не знаю, куда я брела, перешагивала через какие-то чемоданы, один уронила, и какая-то тетка визгливо закричала:

— Куда ты прешься? Куда прешься?

— Куда я прусь?— я повернулась к ней и сказала первое, что попало в голову.— В далекую Африку!

— Хулиганка! Молодежь! Глаза навывал и — прет!

Ко мне кто-то подошел сзади, обнял, сжал плечо и сказал дядь-Жениным голосом:

— Ну что ты, Марин, ну что ты. Когда ждешь одного, а появляется другой — любой растеряется. Любой! Я ведь в Лемью тоже растерялся. Чего ты хочешь от мамы?

— Я ничего не хочу ни от мамы, ни от вас,— я сбросила с плеча его руку и остановилась перед стеной-окном, упершись в нее лбом.

Сбоку и мамочка собственной персоной замаячила. Улыбается виноватенько так, и тоже меня по плечику хлоп, хлоп.

— Извини, дочка, конечно, я тебе рада, только очень испугалась за Мишу.

Я молчу и губы кусаю — только бы не разреветься. И зачем я прилетела, зачем? Ждали меня тут! Как же!

Дома мама пришла в мою комнату (мою-Мишкину-Муськину) и спрашивает:

— Скажи, Марин, только честно: не ты ли уговорила Мишу у папы остаться? Ты хотела быть со мной. Наверное, уговорила?

— Нет,— я чуть снова не разревелась. Сама подумала: знала бы ты, мама, как я уговаривала его поехать к тебе!

— А почему он не прилетел, как ты думаешь?

— Не знаю. По-моему, ему папу жалко.

— А меня ему не жалко? Он же маленький, я же о нем тревожиться буду.

— Ты уехала сама. У тебя дядя Женя. А тревожится никто не запрещает. Тревожься.

— А ты здесь думаешь учиться? Здесь ведь школу не сравнишь с городской.

— А ты против? Если против, я уеду.

— Да что ты, Марин, сразу. Конечно, не против, просто я еще в себя не пришла. Значит, Миша не хочет ко мне...

Дядя Женя внес букет георгинов. Фиолетовые, как неживые. Да уже и есть неживые. Я не люблю сорванных цветов. Они медленно умирают в красивой вазе, а люди этим любуются.

Только дяде Жене я об этом ни-ни. Ведь он мне хотел приятное сделать.

— Это для нашей гостьи,— сказал.

В этот день я долго не могла уснуть. Лежала и думала, что зря прилетела. Что меня не ждали. Что заменить одного человека другим — нельзя.

Мишка — это Мишка.

А я — это я.

В девятом классе деревенской школы одиннадцать человек. Всего трое мальчишек. Один из них — Телега, да, тот самый, что похищал мою сумку, а потом гонял на мотоцикле. Галя тоже в девятом — девчонка, с которой летом я более-менее общалась. Лица в классе все знакомые, а по именам я никого не знаю. На танцы-то не ходила.

Когда Телега вошел в класс и увидел меня — я села за первый стол,— он сначала оторопел от неожиданности, потом хмыкнул, как тогда, на остановке, презрительно скривив рот, и вразвалочку пошел за последнюю парту. Я почему-то так и думала, что он за последнюю пойдет. Почему-то ребята с последних парт похожи — все длинные, развязные и лохматые.

Сидит Телега на камчатке и меня с той стороны как будто холодком обдает, хотя он на меня уже и не смотрит. Не смотрит — я проверяла.

Парень какой-то к нему подвалил, спрашивает:

— Покурим?

Они тут это запросто проделывают. За углом школы.

Телега на часы взглянул и языком прицвиркнул:

— Не успеем. Да я уже перекуривал.

Звонок прозвенел. Совсем как в нашей, Лемьювской, школе. Звонки, наверно, везде одинаковые.

И тут вдруг на стул рядом со мной кто-то плюхнулся. Я погляде-

ла — Телега! Я чуть в обморок не упала. А он как ни в чем не бывало, как будто сто лет тут сидел. Парни загоготали.

Я плечами пожала. Хочется — пусть сидит, не жалко. А тут и учительница вошла, классная.

Я с интересом разглядывала Татьяну Николаевну. Ничего общего с нашей городской Ниночкой-расфуфырочкой. С той хоть модели мод срисовывай, каждый день в новом, экстравагантном являлась. А эта одета просто, полная такая, по виду добрая-добрая. Сразу представилось, что в деревне у Татьяны Николаевны уютный дом, большой ухоженный огород и куча детишек. И муж, конечно. У женщин с такими спокойными добрыми лицами обязательно должны быть мужья.

Поговорила она с нами буквально ни о чем. Потом на часы взглянула:

— А теперь, дорогие, пора нашему классу идти за учебниками.

Все встали, и я тоже. Но почему-то я поднялась вместе со стулом. А так как сидела впереди, все это увидели и захохотали. Я страшно перепугалась. Попыталась освободиться, шагнула, а стул за мной волочится.

Все понятно. Платье!

За ту неделю, что я была в городе, у папы, я заказала себе в ателье по срочному заказу школьное платье, потому что в коричневый мешок, как в прежние годы, облачаться не собиралась.

Мне сшили очень симпатичное синее платье в складочку. Когда я садилась, складки доставали едва ли не до пола. И вот этот дурной Телега успел обмотать подол платья вокруг ножки стула и пристегнул на булавку.

Такой по виду серьезный, а занимается детством. Никогда бы не подумала.

Татьяна Николаевна, как это дело увидела, спокойно сказала:

— Андрей, дорогой, ну что ты.

Значит, Андрей. Наконец-то я узнала его имя.

Все уже вышли, а я сидела со своим платьем. И Телега не выходил. Я отстегнула булавку, красная, как не знаю что. Двинула булавку в его сторону. Он запросто спрятал ее в карман, засвистел, поднялся и вышел. Как будто только и ждал, когда я верну ему эту его булавку.

Надо же такое придумать! В первый день, когда я никого еще не знаю! Когда мне и без того неловко.

Библиотека здесь ма-алюсенькая, в одну комнату. Мы заходили туда по трое и брали комплекты учебников. А в городе нам заранее готовили на столы в классе.

Когда я вернулась в класс, Телега сидел за последним столом с независимым видом. Это он нашкодничать ко мне подсаживался.

— Телега, дорогой, ты же тут сидел,— Татьяна Николаевна кивнула на место рядом со мной.

— Не-е,— протянула Телега.— Я там временно приземлялся.

На Севере в первый день после первого урока нас распускали домой. А здесь мы пошли в колхозный сад убирать яблоки. Не знаю, может, уборка яблок и работа, только мне она казалась сплошным удовольствием. Снимали с деревьев желтые яблоки и укладывали их в ящики со стружками. Поначалу я на каждое яблоко любовалась. В ящик укладывала осторожно, словно стекло.

— Да что ты с ними цацкаешься!— удивлялась Галя.

— Понимаешь, у нас ведь яблоки не растут,— оправдывалась я.

— Эх, сюда бы наших ребят из класса! А еще Мишку и папу.

На Севере нас тоже посылали в совхоз — на картошку. Но убирать картошку и яблоки — разница, скажу я вам, есть. Картошку собираешь в слякоть, в дождь, копаешься в холодной земле, а тут — снимай с деревьев яблоки под ласковым солнышком. А запах какой в саду!

И как на Севере мы кидались картошками, так здесь — яблоками. И мне залепил кто-то по спине. Я думала — Телега, нашла его взглядом — он, очень серьезный, заколачивал ящик. А потом курить умотал. Что я заметила — в деревне все парни курят. И еще ругаются гадко. Второе меня особенно расстраивало, не могу выносить эти противные словечки. Я у Гали спросила:

— Слушай, чего парни ругаются, как пьяные мужики?

Она рукой махнула.

— Не обращай внимание, это у нас обычное дело.

Не могу не обращать.

В первые дни я только и делала, что сравнивала две школы — городскую и деревенскую.

Школа здесь, надо сказать, дряхленькая. Старая деревянная и внутри все старое и деревянное, и удобств никаких. В столовой, правда, вода из крана бежит. Уж что здесь компьютеров нет, можно догадаться.

У нас в Лемью ребята уже два года боролись за то, чтобы отменили школьную форму. Всем она до чертиков надоела. Но без толку. А здесь и бороться не надо — ходи в чем хочешь, никто тебе слова не скажет. И вообще обстановка показалась мне тут не очень серьезной. В классе одиннадцать человек — красота, все условия отличниками становиться. Только что-то никто не торопится. Телега совсем не учится, ну совсем. Он на уроках даже ничего не записывает.

И учителя мне показались какие-то заторможенные. Отбубнят урок по учебнику и довольны.

Единственное, что меня тянуло по утрам в школу, так это присутствие Телеги. Да, да. Когда я заходила в класс и видела на последней парте его фигуру и страдальческое, как будто у него болел зуб, лицо — мне становилось почему-то спокойней. Страдальческим лицо было потому, что он ненавидел школу. Родители заставляли его учиться.

На меня Андрей внимания не обращал. А мне этого хотелось. Не хватало мне его наглых глаз, что ли?

В этом отношении я не могла себя понять.

Ведь я знала, что он бездельник — не учится, и воображала — не здоровается никогда. По вечерам гоняет на мотоцикле. На девчонок вообще не смотрит. Да и они на него — тоже. Я спросила у Гали, почему, ведь он симпатичный.

— Бесполезно. Телега — не человек, машина. Вот как его мотоцикл.

А мама мне про него сказала, что этот мальчик — загадка.

Мне кажется, что Галя права, а хочется, чтобы была права мама.

В одно октябрьское утро скучали мы в школе перед уроками. До звонка оставалось минуты две или три. Андрея не было, и я все поглядывала на дверь, ждала, когда он появится.

И вот открывается дверь, и входит Телега.

Но что это с ним? У него рыжие-рыжие, прямо-таки огненные, волосы. А ведь еще вчера был брюнетом.

Все проснулись, словно в класс факел внесли.

— Кто это тебя так?— спросил Ивантеев. Не обошлось, конечно, без его грязных вводных словечек.

Телега невозмутимо прошел на свое место. Спокойствие у него просто железное.

Прозвенел звонок, и лицо у Андрея снова стало кислое, как всегда на уроках.

Вошла классная, Татьяна Николаевна. Она математик, довольно-таки слабый, опять же с городом сравниваю.

Рыжего не заметить просто невозможно.

— Телега, дорогой, ты зачем покрасился?

Гордое молчание.

— Телега, дорогой, выйди из класса. Не хватало еще, чтобы школьники красились!

Вот тебе на!

Я-то думала, Татьяне Николаевне все до лампочки. Ведь она никогда не возникала — из-за одежды, например, или что девчонки красили ресницы и губы.

А тут — цвет волос не понравился.

Телега встал и направился к двери.

— И клоуном на мои уроки больше не являйся. Слышишь?

Андрей вышел, а Ивантеев сказал:

— Если он еще поверх покрасится, у него волосы вылезут. Это вредно.

— А мне вредно видеть его рыжим,— ответила Татьяна Николаевна.

И вовсе Андрюхе этот цвет не идет. Броский стал, как светофор с красным светом. И вообще смешно: ехать в город, в парикмахер-

скую, сидеть там под едким раствором — зачем? Удивить он кого хотел? Если так, цели добился — всех удивил.

Андрея Телегу выгнали из школы. Справедливо — ведь он не учился. Перекрашенные волосы стали последней каплей. Его и так долго терпели, потому что отец — председатель колхоза, личность в Солнечной первой величины. Очень хотелось отцу сыночка выучить, а сыночек выкинул «финт».

Для того и выкинул, чтобы со школой расстаться — Андрей об этом мальчишкам сказал. Больше отец ничего не мог сделать. Устроил его в колхозе рабочим.

Телега, наверно, праздновал победу, а мне было грустно. Ведь и скучные уроки, и то, что мальчишки по-прежнему ругались, я переносила только потому, что Андрей хоть без толку, но в школе маячил.

Не стало Телеги, лопнуло мое терпение.

Как-то зашел с перемены Ивантеев и выругался.

Меня как будто на стуле подбросило.

— Не смей больше так выражаться! Слышишь ты, Ивантеев?

— Ты, может, того?— вытаращился Колька. Он ужасно неприятный. Нос вздернутый, губы большие, глаза вылупленные. Кажется, что и глаза, и губы и нос всеми силами лезут вперед: что заметнее?

— Может и «того», но не смей больше при мне так выражаться!

— А иди ты знаешь куда,— сказал Колька и опять выругался.

Я схватила сумку и выскочила. Навстречу попалась историчка, у нас как раз история, она окликнула меня, но я махнула рукой, чтобы она отстала.

Противная школа! Противная, грязная! Даже первоклашки ругаются, и это мимо ушей пропускают. Малышам я делала замечания, а они надо мной смеялись.

Уехать отсюда! Убежать!

Спешила я грязной, размокшей от дождей, улицей, поскальзывалась, два раза чуть не упала и думала, что как только приедет дядя Женя — оставлю их с мамой вдвоем и уеду к Мишке с папой.

Дяди Жени не было уже два месяца — он оформлял гостиницу в Мелгороде.

Примчалась домой, а там — дядя Женя газету читает. Приехал! Значит, можно уезжать, и немедленно.

— А-а, большая без паспорта,— пошутил дядя Женя, когда я вошла — ну, здравствуй!

Но я не поздоровалась. Плюхнулась на диван и застучала по нему кулаками.

— Что с тобой?— испуганно спросил дядя Женя.— Тебя кто-то обидел?

— Не могу здесь, не могу!

— Что с тобой, Марин?

Дядя Женя подошел к дивану, опустился на одно колено и заглянул мне в лицо.— Ну?

— Почему здесь все матерятся, почему? Ведь это грязно, дядя Женя, как будто бы в помойке всегда.

Дядя Женя усмехнулся, сел рядом. Помолчали. Потом он сказал:

— Марин, мне здесь тоже тяжело.

— Вам-то что? Вы здесь почти не бываете.

— Ну как? Вот я здесь. Вот я пошел в магазин и услышал. Но это не главное. На меня смотрят здесь как на чужака, на тунеядца.

Это мне было известно. Однажды у нас с Галей состоялся такой разговор. Она как-то подозрительно сощурилась и спросила:

— Где ваш дядя Женя работает?

Я ответила:

— Он художник. Он работает везде.

— Как это — везде?

— Везде и всегда. Моя мама с десяти до пяти сидит в библиотеке и — свободна. А дядя Женя пишет свои картины даже ночью.

— Какая же это работа,— усмехнулась Галя,— картинки рисовать...

— Знаешь, Галя,— я тоже усмехнулась,— я смотрю на хорошую картину, и у меня настроение поднимается. И думать хочется — не о картине, о многом. У тебя не так?

— А на что мне смотреть-то?

— Да, здесь ни одной картины не увидишь. Не нужны они здесь... А вот скажи, тебе нравится ваш клуб?

— Клуб как клуб,— Галя пожала плечами.

— Да это барак, а не клуб! Оформил бы его художник, может быть парни не стали бы там материться.

— Вот взял бы, и оформил.

— Да никому это не нужно! Он ходил к председателю, предлагал. Тот тоже ответил: клуб у нас хороший, новый.

— Твой дядя Женя за это деньги попросил, я знаю,— скривилась Галя.

В селе всегда и все знают!

— Скажи, пожалуйста, твоя мама зарплату получает? Так ведь и он за работу требует, не за просто так. Жить-то ему как-то надо? Вот и ездит работать там, где ему платят. А вы его тунеядцем обзываете...

— Да? Волосы распустил и ходит, как поп,— хмыкнула Галя. Я с ней тогда чуть не поссорилась. «Как поп». Каждый человек ходит так, как ему нравится. Лишь бы другим не мешал. А ему такая прическа идет. Он необычный становится. Одно слово — художник.

— ...И все-таки вы здесь бываете редко,— упрямо повторила я

дяде Жене. Я вдруг решила все ему выложить. И обиду на него — тоже. Была у меня обида на него — за маму.

— Вы взяли, уехали. А мама тут одна.

— С тобой,— поправил дядя Женя.— Я очень рад, что она с тобой.

— Все равно, что одна. А дров нет, приходится доставать. И воды нет, и магазины пустые. А она все одна, одна.

— С тобой. Ты же, Марин, ей помогаешь?

— Помогаю,— всхлипнула я.— Но она переживает, вот вы приедете, а чем вас кормить? Одна картошка да консервы.

Дядя Женя вздохнул, положил руку мне на плечо и сказал:

— Ну что я, Марин, могу сделать? Я твоей маме говорил, я предупреждал, что будет трудно. Она сама это выбрала, понимаешь?

Я пожала плечами. Понимала ли я? Наверно. Но было очень жалко маму.

— ...А изменить я ничего не могу. Я не земледелец, чтобы овощи разводить, я этого не умею. Понимаешь?

Я молчала.

— Я, Марин, тебе больше скажу, ты уже взрослая. Может, нам с твоей мамой не надо было ничего рушить. Понимаешь?

Я сидела ошеломленная. Что он говорит? А раньше о чем думал?

— ...А с руганью ты борись,— продолжал дядя Женя.— Обязательно.

Слезы у меня высохли после его откровения. Я пыталась перемолоть, что он сказал, но так сразу не получалось.

— А как бороться?— спросила тихо.

— Не позволяй ругаться при себе.

Я засмеялась как-то нервно. Значит, Ивантееву я правильно выдала?

— Если после твоей вежливой просьбы, вежливой, понимаешь?.. даже если после твоей вежливой просьбы не перестанут материться — уходи. В любой ситуации. Увидишь — ты победишь.

— Правда?

— Правда. Увидишь.

— А почему так получается, дядя Женя?

— Ох, Марин, разве ж я знаю?.. Отчасти потому, что утратили религию. В бога верили, бога боялись, не сквернословили.

— Значит, надо обязательно кого-то бояться?— удивилась я.

— Бояться не надо. Это был не страх, я неправильно выразился. Религия была одновременно и культурой. Само обращение к богу в светлой, с иконами, церкви, сами молитвы настраивали на возвышенный лад. Это была высокая духовная культура.

— Значит, если сейчас мы не верим в бога, все пропало?

— Нет. Но нам надо научиться уважать себя. Научимся уважать — бескультурье исчезнет.

— А научимся, дядя Женя?

— Должны бы да,— шутливо произнес дядя Женя.

— Но ведь у нас в классе Ивантеев. Он себя во как уважает. Попробуй его задень...

— Это гонор, не уважение. Пьяный тоже хочет, чтоб его уважали, а он и сам себя не уважает — напьется и ведет себя как животное.

Хорошо мы с дядей Женей поговорили. Впервые серьезно. Надо было основательно обдумать его слова, особенно те, что касались его и мамы: «Может, зря мы с твоей мамой все порушили».

Оделась потеплее — осенью тут ветра́ — и пошагала к морю.

Надо было проходить мимо клуба — кирпичного здания, похожего на барак. Его стенку подпирал Телега. Рядом стоял его мотоцикл. Когда я подходила, Телега смотрел на меня свысока, как только он умеет.

— Эй, ты!— окликнул он, когда я прошла мимо.

Еще и этот грубит. Господи, как мне все здесь надоели!

— Эй!.. Марина!

На «Марину» можно и откликнуться.

— Что?

Он взял мотоцикл за руль и повел в мою сторону.

— Ты куда держишь?

— К морю.

— Искупаться, позагорать?

— Подумать.

— А-а. Думать и мне полезно.

Иду, он рядом со своим мотоциклом. Лужи обходим, грязь. И хочется мне, чтобы он рядом и шел, не сворачивал.

— Я слышал, ты в школе революцию устроила.

— Просто-напросто бунт.

— Всегда, как я ухожу, так самое интересное начинается.

Я поразилась его разговорчивости. Ведь из него слова буквально вытягивали.

— ...А чего тебе в Ивантееве не нравится?

— Уже съябедал? Когда успел?

— А он с расстройства с уроков сбежал. Вот как ты. Вы с ним на пару прогуливаете.

— Мне в нем не нравится, что он себя и других оскорбляет. Матерщина — украшает кого?

— Так привычка ж. У нас это в деревне Солнечной запросто.

— Вот именно. В деревне — Солнечной... Вот ты почему-то не ругался.

До меня только сейчас дошло: он никогда не ругался! Правда, он всегда больше молчал, но если и говорил, то без мата.

— Я этих словец тоже не люблю,— медленно сказал Андрей.— Они ко мне почему-то не липли. Слушай, чего я его тащу?— Телега ударил ладонью по рулю.— Конь-то мой на ходу. Поехали?

Море шумело и махало тысячами серых и белых крыльев, но подняться и улететь не могло, потому что было слишком огромным.

Мы сидели на старых баркасах. Почему-то я все рассказала Андрею. О нашей счастливой, а теперь несчастной, раздерганной семье, о дяде Жене и его дочке Муське, о том, что мне сегодня дядя Женя сказал и чего еще не знает моя бедная мама.

— Раз дядя Женя об этом думает, значит, хочет вернуться к своей Муське,— сказала я.

И я решила не уезжать пока в Лемью, а как только наступит подходящий момент, поговорить с мамой, чтобы нам тоже вместе вернуться на Север.

И хотя я знала, что без дяди Жени мама тоскует, мне хотелось, чтобы он снова куда-нибудь уехал и настал этот подходящий момент.

— Ты почему на меня всегда свысока, как гусь, смотрел?— спросила я у Андрея.

— А ты почему — как гусыня?

— Я думала, ты гордый, боялась к тебе подступиться.

— А я боялся к тебе...

Когда Телега остановил мотоцикл около нашего дома, он спросил:

— Ты что в клуб на танцы не ходишь?

— Не люблю,— я толкнула калитку плечом.— Там тоже мат на каждому шагу. Не могу слышать.

Я зашла в дом и услышала, как взревел и пронесся по улице его мотоцикл.

— Явилась, принцесса,— сказал Ивантеев и на следующий день и снова ввернул словцо. Я повернулась и вышла из класса. Стою у подоконника и трясусь от возмущения и обиды.

И тут слышу в нашем классе такой гвалт, ну просто невозможно ничего разобрать. Девчонки кричат, что-то вякает Ивантеев, девчонки слова ему не дают сказать. Потом дверь открылась, Ивантеев, злой, взъерошенный и даже, кажется, порядком потрепанный — рубашка из брюк выбилась, быстрыми шагами удалился по коридору. А ко мне навстречу шел с улыбкой на бледном лице третий мальчишка из нашего класса — Ваня Кобзев.

— Все, он больше не будет,— сказал он и обескураженно развел руками.— Все, и мы не будем. Мы осознали. Чесс слово.

— Посмотрим,— буркнула я и мимо него прошла в класс.

Вечером рассказала об этом дяде Жене.

— Вот видишь,— сказал он и улыбнулся.— Продолжай в том же духе. Ты молодец, ты победишь.

В нашем домике хлипком был порядок, но тоже какой-то хлипкий. Мама и дядя Женя относились друг к другу хорошо, бережно.

Никогда не спорили, не то чтоб ругались. Было тихо, как в маминой библиотеке. Днем дядя Женя работал на чердаке, который называл «мастерской», а вечерами мы втроем собирались у телевизора.

Точно так же, как было у нас в Лемью. И как не похоже! Там у телевизора часто возникали стихийные потасовки. Мишка начинал кидаться маленькой диванной подушкой, к нему я подключалась, потом мама, мы перехватывали эту несчастную подушку, тузили друг друга. Папа ворчал-ворчал, что ему мешают, а потом и сам не выдерживал, ввязывался в кутерьму. Они с Мишкой начинали бороться, катались по полу... Здорово было!

А здесь никто никому не мешал. Никогда не было никаких хохмочек, а все только серьезно, вежливо, тихо.

Мне становилось скучно, я уходила спать.

И все мы ждали писем. А их ни дяде Жене, ни нам с мамой не приходило. Однажды я Мишку в письме поругала, он откликнулся: у нас все хорошо, привет от папы. Но это было в конце сентября, а уже начинался декабрь. Странный декабрь для меня, 15 лет прожившей на Севере,— с частыми дождями и совсем без снега.

Наконец, 7 декабря дядя Женя получает письмо. Конверт красивый, чистенький. Адрес надписан ровным, не Муськиным почерком. Обратный адрес — Москва. Дядя Женя читать его в мастерскую убежал. Вернулся расстроенный и говорит маме:

— Муська заболела, надо срочно ехать в Москву.

— А что с ней?— забеспокоилась мама.

— Еще не знают, в больницу увезли на обследование.

— Собрать тебя?

— Не надо, у меня там есть все.

Меня здорово покоробило это его «У меня там есть все». «ТАМ». В Москве то есть. Очень у него хорошо получается. И здесь есть все, и там. У мамы, например, т а м уже ничего нет.

А дядя Женя чувствовал, что с дочкой неладно. Он ведь очень спокойный, сдержанный, а в последнюю неделю все к нам приставал:

— И чего же мне Муська не пишет? Нет, что-то случилось.

В сентябре она ему два письма накалякала. Как раз когда он собирался ехать что-то там оформлять. Два рисунка прислала. Один — лицо с большими размытыми глазами — без носа, без рта, одни большие размытые глаза. Подпись — «партрет мамы».

Дядя Женя долго разглядывал это произведение, потом сказал: «Интересно». Ну а второй рисунок меня совсем не привлек — цветочек какой-то чахлый, как Муська сама.

Я же свое рисование совершенно забросила. И никто им не интересовался.

Дядя Женя уехал к своей маленькой художнице, и мы снова остались одни. Работы опять прибавилось. Дрова и печки были на дяде Жене. Печку приходилось топить дважды в день, потому что тонкие стены плохо держали тепло.

Тоскливо зимой в деревне. Домик наш на отшибе и вечером, ночью так тихо, не верилось, что где-то есть большие города и даже наш маленький Лемью.

Выйдешь на крылечко, осторожно перешагнешь через дырку в досках, посмотришь в небо. И кажется, что на голову сыплются звезды. Ни людей, ни домов, одни звезды, звезды, звезды. Чудилось, что во всей Вселенной только мы одни, и никому нет до нас дела.

Уехал дядя Женя, и наступил «подходящий момент».

— Поехали, мама, и мы домой,— говорю ей на следующий день. Думала, рассердится, а она нет, ничего.

— Это, Марин, уже невозможно.

— Почему?

— Разбитое не склеишь. Да ведь я и люблю дядю Женю.

— А он тебя, мама?— спрашиваю и кошусь на нее.

— Знаешь,— говорит мама и задумывается.— ...может, он, Марин, тебя стесняется? Все же ты большая. В прошлом году он был веселее, беззаботнее. Ко мне подходил чаще.

— Может, у него все прошло. У мужчин часто увлечения проходят.

Мама засмеялась.

— Ох, Марин, опыта у тебя в этом деле больно много. А вообще я тебя прошу, знаешь, о чем? Мне и самой сейчас трудно во всем разобраться. Поэтому ты уж не лезь. Ладно?

— Не лезь, не лезь... Не лезу, не лезу, только ты, мама, нашу семью — трах!— и разбила. Сидишь тут теперь в дыре и сама себя жалеешь.

Сказала так, и в свою комнату спряталась. Сердце гулко-гулко колотилось. Нырнула в темноте под одеяло и затихла.

А мама телевизор громче сделала. Всегда, когда я спать ухожу, она его приглушает, а тут...

Неужели она плакала?

После разговора на морском берегу Андрей Телега стал моим хорошим товарищем. Почти каждый день мы встречались с ним у клуба. Поговоришь с ним и настроение поднимается.

Перед Новым годом Андрей взял какие-то отгулы и собрался в Москву. Они часто в Москву ездят за продуктами. Ну, за колбасой там, мандаринами. Мать Андрея работала проводником поезда Мелгород — Москва, и Тележка ездил в Москву уже раз сто.

Я напросилась с ним.

Не за колбасой, нет.

Надо было, просто ужас как надо было знать, что с Муськой. Прошло уже две недели, а дядя Женя ничего не сообщал, ничего.

— Что ж он,— беспокоилась мама.— Ведь должен понимать, что я тоже за Мусю переживаю.

И я волновалась за Муську. Запал мне в душу образ этой худенькой голубоглазой девочки. Я все время вспоминала ее со скрипочкой в руках. Вот стоит она под вишней и играет. Сбивается часто, заново начинает. Голос у скрипочки тоненький, как будто кто-то плачет.

Как Муська расстраивалась по пустякам. Нечаянно разобьет чашку — ревет. Сорвет кто-нибудь в степи цветок,— а она увидит, ей и цветка жалко. Как-то мы птичку мертвую нашли — птенец ласточки из гнезда выпал и разбился, так у Муськи целую неделю глаза не просыхали. Как вспомнит птенчика, так плачет. И смеялась она очень редко.

Если бы случилось с ней сейчас что-то ужасное, это бы и для меня было горе.

И почему-то теперь мне нравилось, что дядь-Женину дочку именно Муськой зовут. Голубоглазая, печальная, с серенькими волосиками — это Муська. «Маша» была бы совсем другая девочка.

Когда я заикнулась маме, что неплохо бы съездить в Москву и узнать, что с Муськой, она и слушать не захотела. Но ведь это был единственный выход узнать о ней, раз дядя Женя не писал. Телефона у них на квартире нет. Поэтому я и поехала с Тележкой.

В назначенный день дождалась маму с работы и отпросилась на часок к Гале. А Галю упросила, чтобы она через часок сходила к моей маме и передала ей записку с подробностями «плана разведки». А мы в это время будем уже ехать в поезде.

Что хорошо — Андреева мать не любопытна. Мне только пригрозила.

— Ты ж смотри, школу, как мой охламон, не бросай. Три дня пропусти, это ничего, а совсем — не бросай. А то будешь как я — проводником.

В Москве здорово чувствовалось приближение Нового года. В витринах магазинов горели цветные гирлянды, продавали связанные елки, которые в таком состоянии были больше похожи на пальмовые ветки, чем на елки; карнавальные костюмы, маски.

— Ты эту девчонку хочешь проведать? Его дочку, да?— спросил Андрюха.— Ну давай к ней заявимся Дедом Морозом и Снегуркой.

— Ой, давай!— обрадовалась я.— Ты молодец, Андрюха!

Странно, ведь я знала — Муська в больнице. Почему же была уверена, что она уже поправилась, что уже дома?

Иначе не для дяди Жени же наряжаться.

Мы купили Дед-Морозовский нос с усами и бородой. А костюм Снегурочки Андрей купил мне самый настоящий.

— Я работаю,— сказал он.— И зарабатываю. Могу позволить.

Попросила я у Андрюхиной мамы косметику, накрасила ресницы, щеки и губы напомадила. Чудо-юдо, но внимание привлекает.

Разыскали мы улицу Малахитовую, дядь-Женин дом. В соседнем подъезде Андрей нацепил бороду и нос, я поверх пальто надела красивый, в блестках, Снегурочкин халатик и кокошник.

Позвонили в двери и приготовили улыбки.

Нам открыла Муська, но совсем не похожая на летнюю Муську...

В синем трикотажном костюмчике — юбка в складочку с яркими полосками и такой же свитер. Когда она заулыбалась Деду Морозу и Снегурочке, выяснилось, что и зубы у нее уже на месте. И волосики уже не сосульками, а в косичках. И личико не печальное.

Я чуть было не закричала:

— Муська! Это ты?

Но я смотрела на нее во все глаза и молчала. А ведь Андрюха мне говорил:

— Поздравлять ты будешь, я не умею.

А тут он видит, что я как рыба, и сам начал. Заикается.

— Девочка... это... Мы поздравляем тебя с этим самым... Новым годом.

Муська смотрела на нас во все глаза. Похоже, наше явление ее ошеломило. Может, в ее головке мелькнуло лето, ее названная сестренка Марина, носящийся на мотоцикле Тележка, и она лихорадочно соображала, что общего в этих летних воспоминаниях со стоящими перед ней «волшебниками».

Из комнаты доносился громкий звук то ли телевизора, то ли проигрывателя. Какая-то очень красивая мелодия. Никто из взрослых не появлялся.

— Ты поправилась?— спросила я у Муськи, и мой голос прозвучал как-то сдавленно.

И только тогда Муська бросилась в комнату.

— Снегурочка знает, что я болела! Мама! Папа!

Андрюха схватил меня за руку и мы пулей бросились с четвертого этажа. На втором остановились перевести дыхание и прислушались к голосам наверху.

— Приходили Снегурочка и Дед Мороз. Дед Мороз — рыжий. Они знают, что я болела!— взволнованный Муськин голос.

— Ну, конечно, они все знают, они же волшебники,— это дядь-Женин.

Но мне нельзя ему показываться! Ни за что! Еще подумает, что мы жить без него не можем, и разыскиваем!

Я сама схватила Андрея за руку, мы вылетели на улицу и вбежали в соседний подъезд.

Из окошечка в дверях увидели, как на улице появился дядя Женя. Постоял, поозирался по сторонам и снова зашел.

Эх, дядя Женя, дядя Женя!

Что же ты? Трудно написать два слова? Нет, четыре. Два хороших: «Муська поправилась» и два — для мамы — плохих: «Остаюсь с семьей».

Моя мама бы все поняла.

Сейчас ты в тепле и уюте, не надо заботиться о дровах и воде, но разве тебе хорошо? Разве ты не чувствуешь себя перед моей мамой виноватым?

А, может, ты и сам еще ничего не знаешь — где будешь и с кем.

Но самое главное — Муська здорова.

И как мы забыли, что Дед Мороз и Снегурочка без подарков к детям не ходят? Вот дураки.

— Андрюха, я не буду стоять за колбасой, ты извини.

— Чего?

— Хочу продолжить гастроли.

— Какие гастроли, Марин?

— Навестить брата и папу. Снегурочкой.

— Снегурки ездят с Дедушками Морозами. Купим колбасу и поедем вместе.

— Нет, Андрюха, я одна. А то вдвое больше расходов. У меня есть еще двадцать рублей, мне одной хватит.

— А ты не боишься? Все же девчонка.

— А я с какой-нибудь тетенькой. Я же водку не пью, в компанию не сунусь, не волнуйся.

— Да знаю, знаю,— смеется Андрей.— Ты образцово-показательная. И как тебе удалось сохраниться?

— Меня Тургенев хранит.

— Кто-кто?

— Тургенев.

— Я ему... это... накостыляю.

Я засмеялась.

— Подраться с классиком — это интересно. Никому не удавалось.

— Мне удастся.

Неужели он всерьез?

— Андрюха, садовая голова, неужели ты не знаешь, что Тургенев — писатель? «Му-му» в четвертом классе читал?

— Читал. Только я думал, это Грибоедов.

— Счас как дам!— я несильно треснула его по спине.— Еще в десятый пошел!

— Меня туда загнали. Как телка. Слушай, ударь еще раз,— прищурился и на меня смотрит. Волосы из-под шапки торчат как медная яркая проволока.

— Зачем?

— Ударь.

Я его еще раз по спине стукнула, довольно-таки прилично.

А он говорит:

— Черт, ужасно приятно. Ужасно приятно, когда девчонка дерется. Ладно, отличница, съезди в свой Лемью, я тебя тут встречу. Во сколько ваш поезд приходит?

— В семь утра.

— Встречу.

— Но ведь мама твоя вечером обратно, как же ты...

— На вокзале переночую,— перебил он,— хоть покурю в открытую. При ней же не смей.

— Охота тебе травиться.

— Так привычка ж. Моя мать твоей передаст, что ты в Лемью на денек. Из Москвы, считай, что рядом, грех батю не навестить. Так что давай трогай, снегурка.

— Ой, я же краску не смыла! И ты молчишь. Ладно, в поезде. А ты сейчас в магазин?

— Ну так да ж. Колбасу добывать. Новый год.

— Без колбасы его встречать нельзя?

— Так привычка ж.

Дорога моя в Лемью ничем не запомнилась. Поезд стучал-стучал. Полз-полз. Людей в вагоне было полно, малышня с визгом бегала. Я лежала на верхней полке и думала. О маме, дяде Жене, его незнакомой жене, вернее, Муськиной маме. О самой Муське, о Мишке и папе. Об Андрее Телеге.

По школьным понятиям, Телега, конечно, двоечник. Но он простой и добрый. И вовсе не воображает. Это он раньше меня стеснялся. Мне нравятся его веснушки на носу и серые смелые глаза. И как он с усмешечкой говорит: «Ну так привычка ж».

Взяла я с собой наряд Снегурочки, а зачем?

Как приехала в родной город — а он весь заснеженный, как увидела вокзал и родную «десятку» — этот автобус ходит по всем центральным улицам — все актерские замыслы рухнули. Села я на «десятку», доехала до парка, а там, наискосок,— наш дом. Мне бы скорее броситься на шею папе и увидеть Мишку!

Звоню.

Открывается дверь, я хочу крикнуть: «Мишка! Папа!», но крик застревает у меня в горле.

Вышла какая-то женщина в пестром халате. Смотрит на меня по-хозяйски.

— Девушка, вам кого?

Может, я не на свой этаж попала?

Да нет же, вот наш ящик для овощей, вот знакомая соседская дверь, обитая коричневым дерматином.

— Мне Марину,— неожиданно выпаливаю я.— Она дома?

— Марина?— тетка хлопает бесцветными глазками.— Вы знаете, она здесь уже давно не живет.

— Ах, не живет! А где она, скажите, пожалуйста, живет?
— Ой, вы позвоните попозже, муж придет, он вам точно скажет.
Муж!
Мне показалось, что я в каком-то кошмарном сне. Может, я заснула у себя на второй полке? Может, все еще еду и это мне снится?
Повернувшись к лестнице, я стала медленно спускаться.
— Телефон вы наш знаете? Девушка?
— Два шестнадцать ноль два,— пробормотала я машинально. И вдруг спасительная мысль мелькнула: может, папа с Мишкой переехали? Обменяли квартиру? Взяли себе поменьше. Ну и что, что в раскрытую дверь виднеются наши обои и в прихожей — наше старое зеркало.
Я обернулась с надеждой.
— А Киселевы, что, переехали?
— Нет. Здесь живут.
— А Миша тогда где?
Ведь правда, Мишка-то должен вылететь. Неужели он меня не слышит? Время такое, что он должен быть дома — одиннадцать вечера. Уже спит? Да, завтра в школу. Надо было мне погромче разговаривать, чтоб он проснулся.
Оттолкнуть бы эту тетку и войти в свой дом. Муж у нее! Это мой папа, а не ее муж!
— Мишка!— крикнула я, повернувшись к дверям.
— А Миши нет,— как-то скривившись, сказала тетка.
Час от часу не легче. Ни папы, ни Мишки.
— А где же он?
Я уже еле сдерживалась, чтобы не разреветься. Господи, сколько же в последнее время мне приходилось плакать. За всю жизнь я не плакала столько, сколько за последние полгода.
— Миша...— женщина замялась.— Вы знаете, у нас неприятность. Мальчик утром ушел и еще не возвращался. Муж пошел его искать.
О господи! Мишка пропал!
— Это он из-за вас ушел!— крикнула я и галопом помчалась по лестнице.
— Девушка!— заверещала женщина вслед.— Так вы знаете, где он?
— Знаю!— заорала я, запрокинув с лестничного пролета голову.— Вы его выгнали!
— Так скажите, девушка, скажите,— слышно было, как женщина побежала за мной.— Мы тут так беспокоимся, знаете, муж...
Я выскочила на снежную улицу, швырнула сумку на скамейку и стала орать Мишку. Орала я в разных концах двора, бегала в соседние, но все без толку. Брат не отзывался.
Я вернулась к своему подъезду, села рядом с сумкой, в которой лежал дурацкий снегуркин наряд. На сумку уже снег нападал. Я

ревела и стряхивала с нее этот снег. А он все падал, падал... Потом открылась дверь балкона на втором этаже, показалась светловолосая голова.

— Марина?— неуверенно позвал женский голос.

— Тетя Наташа, это я, я!— хлюпала я носом.— Вы не знаете, где Мишка?

— Марин, поднимись к нам. Поднимись скорее.

Я поднялась к соседям.

Тетя Наташа меня обняла, потом выскочила Алинка, моя подружка, с которой мы вместе и в школу ходили, и тайнами делились. Я ее к себе ночевать приглашала, когда папа уходил. Мы и с ней обнимались, и я все талдычила:

— Люди, где Мишка? Почему вы от меня скрываете?

— А чего Мишка?— Алинка от меня отцепилась.— Я его вчера в школе видела.

— Его с утра дома нет. Там тетка какая-то. Что за тетка? Это она Мишку выгнала!

— Знаешь, что,— говорит тетя Наташа.— Не разводи панику. Раздевайся.

И они втроем — еще дядя Витя подключился — стали меня обихаживать, кормить и успокаивать, говорить, что с Мишкой ничего не случилось, что он вот-вот явится и всякое такое, а что это за женщина — никто не знает, она живет-то тут всего неделю и что это еще ничего не значит, ну подумаешь, папина знакомая, еду готовит.

— Она говорит — муж. Папа — муж, муж.

— Да я ее вообще тут ни разу не видел!— уговаривает дядя Витя.— Честное слово, Марин!

Алина каждые пять минут звонила по нашему телефону. Я не хотела с теткой говорить. Мишки не было. Обзвонили его друзей. Выяснилось, что его не было в школе.

Что делать, я не знала.

А потом вдруг появился папа. Он ничуть не удивился, увидев меня. Наверное, ему тетя Наташа все рассказала, наверно, она его вызвала.

Дверь в маленькую комнату закрылась снаружи, и мы с папой остались одни.

Сначала я не хотела на него даже смотреть. Мишка и эта тетка... И не смотрела. Сидела на диване, уставясь перед собой.

Папа сел рядом. Меня не поцеловал, не обнял. Заговорил о самом главном. О Мишке.

— В милицию не заявил. Я думаю, он к маме поехал. Пусть едет. Заявишь в милицию — не дадут доехать, задержка получится. Деньги он взял, сто рублей взял.

«Хоть догадался!— подумала я.— Ну, может, доедет».

И мне так скорей захотелось назад к маме, убедиться, что Мишка жив и здоров.

— Что же ты его до этого довел? — сказала я папе, не глядя на него.

— Тебя вон, значит, тоже довели, — усмехнулся папа.

— Да, бедные дети, — горько улыбнулась я. — Ездят по Союзу и не знают теперь, где у них дом. А может, его и вообще нету?

Невеселый у нас с папой вышел разговор.

С этой женщиной, Ниной Анатольевной, они вместе работают. Встречаются уже почти год. Еще когда я жила тут — встречались. А теперь вот решили пожениться. Нина Анатольевна — хорошая хозяйка и человек.

Нет, официально они еще не расписались, зачем торопиться? Но все к тому идет.

— Если бы она была хорошая, папа, Миша бы не ушел.

— Миша вел себя ужасно, — сказал папа. — Он Нину Анатольевну бойкотировал.

— Правильно, молодец.

— Он ничего не ел.

— И я бы не ела.

— Может, она излишне его опекала, но ведь это неплохо!

— Папа, это самое ужасное! Если бы чужая тетка...

— Зачем ты так? Ведь ты ее не знаешь, — упрекнул папа.

— Нина Анатольевна, извини. Если бы она вязалась ко мне со своими советами, я бы тоже не вытерпела! Потому что она для меня — никто! Ты, папа, со своей женитьбой поторопился.

— А что мне было делать, Марин? Я ведь еще не старик. Да и хозяйка нужна. Что мы с Мишкой...

— Ты поторопился. Может, мама еще вернется.

— А что? Художник ее уже бросил?

Он спросил это таким тоном, словно хотел сказать: ну вот, наконец-то!

Мне стало обидно за маму. Поэтому я решила ему ничего не рассказывать подробно.

— Нет, папа, не бросил. Но, может, он вернется к старой семье.

— Ничего, мама еще кого-нибудь себе найдет.

— Папа, тебе маму не жалко? Ты так о ней говоришь. — Я снова чуть не разревелась.

Папа хмыкнул.

— Меня бы кто пожалел. Ладно, пошли домой, соседям пора спать ложиться.

— Не пойду я к этой тетке, — брезгливо сказала я. — Это теперь ее дом, не мой.

— Марин, я не могу ее выгнать на ночь. Пойдем, — он погладил меня по голове. — Какая стала большая. Пойдем.

— Не пойду, — сказала я, и разрыдалась.

Назавтра меня снова ждала дорога. Папа меня провожал. Его Нина Анатольевна ночью варила для меня курицу, но я ее не взяла, как меня папа ни уговаривал.

Я поглядывала на часы — когда же кончится это провожанье? Еще никогда так долго не тянулись минуты. Пока я не узнаю, что Мишка у мамы, я не смогу жить спокойно.

— Если ты так торопишься, до Москвы надо было на самолете,— сказал папа.

— Папа, на Ярославском вокзале меня встречает один парень.

— Вот как?

— Вот так, папа. Вам одним, что ли, жениться? Я, может, тоже замужем.

— Не говори глупостей.

— Серьезно. Пока, папа, цвети и пахни!— С этими словами я его и оставила.

Андрюхину рыжую голову я увидела издалека. Он стоял на том месте, где мы условились встретиться,— на крыльце Ярославского вокзала, со стороны перрона. Андрюха стоял на верхней ступеньке, а рядом был еще кто-то, до ужаса знакомый.

В меховой пушистой шапке, в темном пальто, уже здорово коротком.

Мишка! Боже, Мишка! Братик мой Мишка!

— Мишка! Чудо в перьях, Мишка!

Пусть хоть что происходит у папы с мамой и у их жен и мужей, пусть хоть что происходит, главное — мой братик жив и здоров!

— Мишка! Откуда ты? Как вы встретились?

Тележка ночевал на вокзале, как и хотел. Сидя спать не очень удобно, в шесть он проснулся, встал и вышел поразмяться. А в семь решил отрепетировать нашу встречу. Действительно, подошел поезд из Лемью. Андрюха сверил часы — все точно, семь. Стали выходить пассажиры, и Андрюха бессмысленно стал смотреть на моих земляков.

И тут он увидел одинокого мальчишку, без вещей. Мальчишка, ссутулясь, шел по перрону и хмуро глядел себе под ноги. Вид у него был затюканный, растерянный, и Телега решил, что ребенок потерялся. Так как спешить ему было некуда, он решил помочь. Подошел к мальчишке и сразу узнал Мишку!

— Как в сказке,— улыбнулся Андрюха.

И — знаете что — неожиданно для себя я поцеловала его в щеку, потому что если б не он, еще неизвестно, что бы было с моим братишкой.

Билет на поезд Мишке купил какой-то парень. Проводница не придиралась, только спросила в самом начале, почему Мишка едет без взрослых. Он сказал, что взрослые его провожали. И все. Главное для проводницы — билет.

— Ты почему из дому удрал, чудо в перьях? Нина Анатольевна там вся слезами залилась.

— А, она мне, Марин, надоела. Ночью подойдет и одеяло под меня подтыкает. Она мне что, мама? Чего она ко мне лезет? А начнет свои волосы расчесывать... Марин, мне в школу собираться, а она — расчесывать. Расчесывает и песни поет, а голос, Марин, ну такой чужой, все время реветь хотелось. Знаешь, как плохо. Я и удрал.

Домой, к маме, мы приехали под самый Новый год.

Мама уже страшно волновалась. О том, что Мишка убежал, мы ей и не сказали. И о Нине Анатольевне тоже. Получилось, что я съездила за братом и привезла его маме в качестве новогоднего подарка. Мама была страшно довольна.

— Новый год будем встречать втроем!— торжественно сказала я.

— А в прошлом году к нам приезжала Муся,— грустно сказала мама.— И мы вчетвером ходили на море. Звезды висели как елочные игрушки. Правда, Миша?

— Не помню,— хмуро сказал Мишка.

— А два года назад, мама, мы вчетвером сидели под зеленой елочкой, за столом. И я испекла вам яблочный пирог. И мы его ели. И все были счастливы — наша семья,— сказала я.

— О, вот это я помню!— заулыбался Мишка.

Мама вздохнула и ничего не ответила.

Во дворе раздался стук. Мы поглядели в окно. Вооружившись топором, Андрей Телега заколачивал в заборе штакетник.

Рассказы

ТАЙКИНА ТАЙНА

Как всегда — во вторник, среду, пятницу у Нади Кирушевой — секция. Надя любила свою секцию. В легкоатлетический манеж прямо летела. Правда, в последнее время она испытывала на занятиях легкую грусть и понимала, отчего она возникала: на секцию больше не ходил Алеша Веселкин, Веселка, как его звали ребята.

Веселкин-Веселка ужасно взрослый. Уже закончил десятый. После десятого с секции, вроде бы, механически выбывают. Но Алеша еще ездил летом в спортивный лагерь. Когда возвращались из лагеря домой, на Север, Веселка доехал только до Москвы и остался там сдавать экзамены в институт.

Не поступил, и весь сентябрь занимался легкой атлетикой, самый старший в старшей группе. А в октябре перестал приходить, и Гриша Медведев, Алешин сосед, сказал, что их друга забирают в армию. При этом он выразительно посмотрел на Надю, а потом ей подмигнул.

Так Надя поняла, что Алеше уже восемнадцать. Ей же было на пять лет меньше. Поэтому она заставляла себя не думать об Алеше, слишком уж он взрослый.

А думать — хотелось. Думалось. Особенно по ночам, перед тем, как заснуть.

На секцию Надя опоздала: ребята уже разминались на улице. Сбоку стоял тренер Аскольд Иванович (ребята звали его «Аскофен») с футбольным мячом под мышкой.

— Надежда!— сказал он, когда она проходила мимо, и сделал строгое лицо.— Опаздываешь, ай-ай-ай.

Надя поздоровалась, рассмеявшись — очень уж не шло строгое выражение добряку Аскофену — и прошла в манеж переодеваться. Снять куртку, брюки, остаться в спортивном костюме — вот и все «переодевание». Надя вжикнула молнией куртки, как в маленькую, с квадратным окошком под потолком, раздевалку влетела Тайка Семенчина. Глаза у нее были такие, словно случилось что-то невероятное. Надя даже испугалась.

Тайка прижала спиной дверь и выпалила:

— Надька, тебя у школы Веселкин ждал, да-да!

Это свое «да-да» Тайка совала куда попало, словно с ней вечно собирались спорить.

Надю бросило в жар.

— Когда?

— Сегодня после пятого урока!

— У нас шесть было.

— Вот-вот, шесть,— Тайка посмотрела на Надю укоризненно, словно это она была виновата в расписании.— Ну, вобщем, Веселка тебя не дождался, да-да, и велел передать...— Тайка полезла в свою

мягко шуршащую куртку, висевшую на вешалке, и вытащила из кармана сложенную узкой полоской бумажку.

— На!— Тайка хлопнула полоску в Надину ладонь.

Записка!

Надя встала спиной к Тайке, которой следовало бы сразу исчезнуть, но она и не думала уходить, и развернула бумажку.

«Надя, я ухожу в армию. Пиши мне по адресу: Хабаровский край, в/ч 4212, Веселкину Алексею. Я буду очень ждать».

Подписи не было.

Так ведь ясно: Алеша.

Что творится с девчонкой, когда она получает записку от парня, который ей нравится? Лихорадочно бьется сердце, потеют ладони. И хочется поделиться радостью со всеми вокруг и даже с Тайкой —«да-да», ревниво следящей за Надиной реакцией. Тайка пыхтела, пыхтела за Надиной спиной, а потом нетерпеливо спросила:

— Чего там, а?

Надя, отводя взгляд, протянула ей записку.

Семенчина прочла и как-то ехидненько улыбнулась:

— Ну-ну,— сказала она,— поздравляю. Да-да.— И уже спокойная, вышла на улицу.

Аскофен дал задание: мальчишкам семь кругов вокруг стадиона, девочкам — пять.

— Потом поиграем в футбол,— добавил тренер.

Когда погода была хорошая, не лил дождь, ребята всегда занимались на улице.

Во время бега Надя все думала о записке и вспоминала лето в спортивном лагере. Они бегали вместе с Тайкой, и Тайка не мешала ей думать. Вообще во время бега они почти никогда не разговаривали: разговор затруднял дыхание.

Впереди маячили десятиклассницы — Тамара с Олей — взрослые, поэтому красивые и важные. Тамара с Олей считали семиклассниц Надю и Тайку «мелочью» и если разговаривали с ними, то как-то снисходительно. Надю бросало в жар, когда она представляла, как смеялись бы Тамара с Олей, узнай они о записке. Надя еще крепче сжимала в кулаке твердую бумажную полоску.

С деревьев слетали последние листья. Под ногами их было уже гораздо больше, чем на ветках. Осень стояла необычно сухая, и опавшие листья были похожи на сухое печенье. Они приятно шуршали под ногами.

Веселкин был высокий и тощий. Его нос был, пожалуй что длинноват, глаза, пожалуй что небольшие, карие, рот маленький, крепкий. От нижней губы к подбородку шел крутой изгиб. Что в нем было примечательного, так это ресницы — длинные, прямые и разноцветные: среди черных ресничек встречались светлые, почти желтые. Эти странные ресницы притягивали к себе не только Надин взгляд. Многие у Алеши спрашивали:

— А чего у тебя ресницы разноцветные?

Веселкин отвечал тоже вопросом:

— А чего у тебя нос прямой?

Или спрашивал чего-то про глаза. Сразу все отставали. Правда, как будто Веселкин знал, отчего у него такие ресницы.

Сначала Алеша Наде не нравился. Она считала его совсем некрасивым. Стала присматриваться по-настоящему только тогда, когда заметила, что Веселка ее вроде того что защищает. Нет, даже не защищает, никто Надю не обижал, а опекает, что ли...

С легкоатлетами в лагере были еще и гимнасты. Они называли ребят с легкой атлетики «легкими котлетками». Одна гимнастка, девятиклассница Ленка, не очень симпатичная, лицо у нее в прыщиках, однажды Наде сказала:

— Слушай, легкая котлетка, а ты прыткая: Веселку у меня отбила!

Они вместе выходили из городской столовой, где питались по талонам. Надя так удивилась этим словам, что споткнулась на ровном месте. Она не нашлась, что Ленке ответить. «Отбила». Ленка сильно выразилась. Надя мальчишек стеснялась, стала бы она кого-то там отбивать.

Вот после этого и стала к Алеше присматриваться. Да, точно, Алеша ее среди девчонок выделял. Играют, например, вечером в «картошку». Во-первых, Алеша чаще всего пасовал мяч ей, Наде. Во-вторых, когда она попадала в круг, в число «картошек», и ее очень уж сильно «окучивали», Веселка басил:

— Ну, уж совсем. Полегче нельзя?

Однажды днем, после тренировки, они купались, и Надя поплыла на остров, что был на середине озера. Тренер испугался, стал кричать, чтобы Надя немедленно вернулась. Но Надя свои силы прекрасно знала, и не подумала возвращаться. Тогда следом за ней вплавь бросился Веселкин. Вряд ли ему велел Аскольд Иванович. Веселка ее немного не догнал, она спокойненько дотянула до песчаного берега острова и легла на горячий красноватый песок. Минуты через две на берег выбрался Веселка, лег неподалеку и, отдышавшись, обронил:

— Ну, ты уж совсем... Чего Аскофена пугаешь?— Он скосил на Надю один глаз — другой был сощурен от солнца. Среди кончиков черных ресниц торчало несколько желтых.

— Разве я плохо плаваю?— спросила Надя.

— Нет, хорошо.

— Зачем же за меня бояться?

— Ты маленькая.

— Тринадцать лет — маленькая?

— Да, маленькая,— ответил Алеша очень серьезно. Встал, направился к воде — высокий, сутуловатый.— Поплыли обратно, если отдохнула. Отдохнула?— Он обернулся к Наде с тем же сощуренным глазом.

И хотя Наде не хотелось покидать так быстро маленький необитаемый островок, она пошла за Веселкиным.

Плыть рядом с Алешей оказалось очень спокойным. То есть,

ей и одной не было страшно, но одной нет-нет да и приходило в голову, что глубина под ней, наверно, ого-го какая, и от этой мысли, а не от воды, становилось как-то холодно. А вот с Алешей об этом нисколько не думалось. Надя перевернулась на спину и поплыла так. Над собой она видела клубы серо-ватных облаков, нагроможденных друг на друга, похожих на заснеженные Кавказские горы. Вокруг этих громадных облаков было беспечное голубое небо, такое голубое, словно облачные горы обложили сплошными лепестками голубых незабудок. Хотелось плыть рядом с Веселкой как можно дольше и все смотреть на эти серо-белые облака.

Доплыли до пляжа. Веселка сразу отошел к мальчишкам, Надя — к девочкам. Аскофен — он стоял с парнями — погрозил Наде пальцем, сердито сказал:

— Я, Надежда батьковна, несу личную ответственность за каждого ребенка.

У Аскольда Ивановича добрейшее лицо. Оно выражает прямо-таки кроличье добродушие. И вообще он похож на кролика — два его передних зуба выдаются над нижними. И когда он пытается говорить что-то строго, тем более сердито, это кажется неестественным и всегда вызывает улыбку.

Вот и сейчас. Надя улыбнулась, взглянув на тренера, и ответила в оправдание:

— А я уже не ребенок, Аскольд Иванович.— Она распустила хвост, чтобы просохли волосы.— Тут вообще все уже большие.

— Все большие, а ты — ребенок.

— Она не ребенок,— поправил Гриша Медведев.— Она, Аскольд Иванович,— рыбенок. Смотрите, вон волосы как у русалки.

Все посмотрели на Надины распущенные волосы, и Алеша, конечно.

Надя покраснела и побыстрее легла на покрывало, расстеленное на песке, чтобы сделаться как можно незаметнее.

Вообще-то правда, Надя с Тайкой были в лагере самые младшие, если не считать шестилетнего Федьку-белобрысика, сына начальника лагеря, и гимнастку-второклашку Вику, которую взяли сюда за выдающиеся спортивные способности. Полненький Федька и вертлявая будущая чемпионка (все звали ее Вичкой) были в лагере «детьми полка» и вытворяли все что хотели.

Да и всем в спортивном лагере нравилось. Тренировки два раза в день — легкоатлеты бегали кроссы, учились грести, устраивали соревнования. И свободного времени хватало: ходили в лес за черникой и земляникой, гуляли по маленькому, утопающему в зелени белорусскому городку. В прошлом году Надя ездила в пионерский лагерь и поражалась, насколько в спортивном лагере жизнь была интереснее, чем там, где то и дело слышались окрики воспитателей и вожатых, всегда чего-то запрещающих. Там даже за ворота нельзя было выйти.

А здесь — раздолье, работа телу и отдых душе. И никто никуда удирать не собирался, и стражей-дежурных у ворот не было, да и

ворот не было. Луг, палатки, спортивные сооружения для гимнастов — бревно, кольца, трапеция — вот и весь лагерь. А вокруг лес. Гуляй где хочешь. В свободное время можешь в город пойти — до него километра два по лесной дороге, можешь — в лес. Даже Федька на пару с Вичкой одни уходили в лес, возвращались с перепачканными черникой рожицами.

Надя с Алешей тоже собирали чернику. С ними еще девчонки были — Тайка с Тамарой, но Веселка не обращал на них внимания, словно их и вовсе не было. Наде даже было немножко неудобно. Веселкин набрал горсть ягод «с домиком», наклонился над Надей — она собирала чернику сидя на корточках — и поднес эту горсть к Надиным губам.

— Ешь.

Надя уже объелась черникой, но Алешу обижать не хотелось. Она съела ягоды прямо из его большой ладони. И, конечно, вся перепачкалась. В лагере взглянула в зеркало — щеки были в фиолетовых разводах, ну точно как у малышки Вички. С запозданием покраснела: таким-то клоуном она торчала перед Веселкиным.

Однажды после тренировки Надю отрядили на базар за абрикосами. За ней увязался Алеша.

— Я тоже абрикосов хочу,— серьезно сказал он и поморгал разноцветными ресницами.

Он вообще был серьезный. Даже слишком. Не смеялся и тогда, когда все хохотали, например, над каким-нибудь анекдотом. По натуре он был совсем не «Веселка».

— Ну пошли,— согласилась Надя, а сама всю дорогу стеснялась с ним идти — Веселкин казался ей ужасно взрослым, ужасно большой, а она себе рядом с ним маленькой такой девчонкой навроде Вички. В городке прохожие на них с интересом оглядывались.

Абрикосов накупили полную полиэтиленовую сумку — они тут были дешевые. Купили на всех «легких котлеток». Эту тяжеленную сумищу нельзя было тащить за ручки — сразу бы порвались, и Веселкин нес ее, прижав к животу. В лагере их встретили бурными возгласами, а гимнастка Ленка скорчила гримасу:

— Смотрите-ка, у этой малышки уже собственный носильщик.

Алеша вытащил из сумки здоровенный, покрытый нежным пушком абрикос, и с торжественным видом подал Ленке.

— Спасибо.— Засмущалась она, и взгляд ее на Надю стал немного добрее.

Вечером того же дня Надя услышала такой разговор. Уже был отбой, все разошлись по палаткам, а Надя была дежурной по вечернему чаю, поэтому задержалась.

Из палатки, в которой жили Алеша, Гриша Медведев и Женя Липин, слышались голоса. Почему-то Надю эти голоса приостановили. Почему-то. Да нет, просто хотелось узнать, о чем разговаривают мальчишки и особенно то, что говорит Алеша. Сегодня он вызвался сходить с ней на базар. Зачем?

И вот Алешин голос:

— А мне, сами знаете, Надя нравится.
Говорили о девчонках.
Все в Наде замерло.
— Да уж знаем, знаем,— со смешком ответил Гриша Медведев.— Ты за ней, Веселка, как хвостик бегаешь. Извини, Лешка, но это глупистика — она же маленькая.
— Пять лет — разве большая разница?— удивленный голос Алеши.— Ну да, сейчас много кажется. А для семьи?
— Для семьи?— хохотнул Гриша.— Куда хватанул!
— А что?— серьезно спросил Алеша.
— А то, что рано об этом думать. Знаешь, еще сколько девчонок будет? Для семьи!— смеясь, удивлялся Гриша.
— Мне много не надо. Мне одна нужна — на всю жизнь.

У Нади сердце заколотилось так, как будто она пробежала спринтерскую дистанцию.

И тут же раздался голос Жени Липина:
— Это какая Надя?

Видно то, что сказал Веселка, было настолько необычно, что даже Женя отвлекся от своих мыслей.

Этот Женька-гимнаст был странной личностью. Ничего вокруг себя не замечал. Знал только трапеции да книги. Этот чудак, как только приехал в лагерь, записался в городскую библиотеку, и каждую неделю притаскивал оттуда кучу книг.
— Не знаешь?— удивился Веселка.— Черненькая, с длинными волосами. Личико у нее еще такое круглое.
— Не обращал внимания,— ответил Женя.
— Обрати,— сказал Алеша.— Только не сильно, а то рассержусь.
Надя шла к своей палатке в полной темноте и чувствовала, как скачет сердце.
Теперь-то она уж ясно знала: нравится Алеше. Серьезно нравится. Раз он о семье говорил. И — что на всю жизнь. Ну, он, конечно, слишком.
Еще она немного расстроилась. Значит, у нее круглое лицо? Она этого не знала. Всегда думала, что круглое лицо — это плохо, круглое лицо должно быть только у толстых. А она не толстая, совсем наоборот... Но раз такое лицо нравится Веселке, значит, оно не плохое?
— Тайка,— спросила она в палатке,— у меня, что, круглое лицо?
— Не знаю,— ответила Тайка.— Наверно, лица у всех круглые, да-да. А что? Это тебе Веселкин сказал?
— Никто не сказал.— Надя пожалела, что спросила у Тайки. Семенчина все сразу связывала с Алешей.
Да не так уж она и ошибалась.
Назавтра Надя не смела глаз на Алешу поднять. Избегать его стала. И больше ни разу не путешествовала с ним на базар или в лес.

Ездили на экскурсии — садилась в автобусе подальше, хотя он взглядом приглашал ее сесть рядом.

И вот — записка.

Будет ли Надя писать Алеше? Да он-то ей нравится ли? То, что он некрасивый,— совершенно точно, так и девчонки говорили, Тамара с Олей, а эти старшеклассницы уж разбираются в красоте. Но был у Веселкина один такой взгляд, когда он смотрел чуть исподлобья и глаза у него при этом становились как будто больше — вот тогда он казался Наде красивым. А еще он был добрым. Однажды в лагере Федька-белобрысик прицепился к Алеше, как клещ, чтобы Веселка с ним поборолся, очень любил Федька со старшими ребятами бороться,— и порвал Алеше модную рубашку, пуговицы так и полетели. Веселкин не отшвырнул Федьку, как это сделал бы любой другой парень, а только сказал:

— Ну ты уж совсем.— И стал собирать пуговицы. И Федька с ним по траве ползал и тоже собирал эти беленькие пуговицы, а потом Алеше предложил:

— Давай я рубашку папе отнесу, пусть он ее зашьет.

— Да я уж сам,— чуть улыбнулся Алеша. Он исподлобья взглянул на Надю (она была тут же, читала Женькину книжку). И Наде так захотелось попросить у него рубашку и зашить самой... Может, Алеша тоже этого хотел, потому и посмотрел на нее. Но она не посмела.

Потом Надя всю смену жалела, что не попросила эту рубашку. Алеша, наверно, решил, что она ничего не умеет, даже шить.

Как жаль, что Алеша стоял на углу школы, ждал ее и не дождался. Как жаль, что у них было не пять, а шесть уроков. И надо же было пройти мимо Алеши Тайке Семенчиной. Тайка училась с Надей в одной школе, в параллельном седьмом. Если бы Алеша не увидел Тайку, он бы дождался ее, Надю.

Она уже соскучилась по нему и была в общем-то удивлена, что по ней не скучает Алеша. Такое говорил и — не скучает. Не приходил на секцию, значит, не скучает.

Дома Надя показала записку маме. Пока она ее читала в маленькой комнатке, Надя стояла в прихожей и смущенно глядела на маму, высунувшись из-за дверного косяка. Было стыдно. Конечно, ведь ей только тринадцать, а Веселкину... ужас! Мама сейчас скажет, что они никак не подходят друг другу. Для дружбы не подходят, не то чтобы для чего-то бóльшего. Под «бóльшим» Надя подразумевала любовь. В тринадцать лет говорить о любви и даже думать о ней, по мнению взрослых, рано, но Надя думала, как думали и одноклассницы, и думала Тайка — да-да. Но Надя стыдилась этих дум, поэтому пряталась от мамы за косяком.

Мама прочла записку и подняла на Надю глаза. Она спросила:

— Он тебе нравится?

Надя пожала плечами и спряталась за косяком совсем.

— Не знаю,— пробормотала она оттуда. Голос у нее был смущенный, то же смущение мама прочитала в глазах, когда Надя снова показалась из-за своего косяка, и мама поняла: «нравится».

— Ну и будешь писать,— решила мама.— Только вот что странно... Ну где ты там, Надя? Покажись.

Надя высунула из-за косяка глаз и нос.

— ...странно, что он тебе адрес оставил. Обычно ребята адресов не знают. Не знают, где будут служить.

— А он почему-то знает,— уверенно сказала Надя. Она ни на минуту не сомневалась, что адрес Веселкина правильный, и что служить он будет именно там, в далеком Хабаровском крае, на реке Амур. Река Амур широкая-широкая, на одном берегу — наша страна, на другом — Китай.

— Что ж, может, для кого-то и есть исключение,— мама пожала плечами.— Может, кто-то и знает.

— Мама, а это ничего, что он такой...— Надя еще больше засмущалась и стала сгибать от волнения пальцы так, что они затрещали.— Что он такой... взрослый. Он же на пять лет старше!— последнюю фразу Надя прямо выпалила от страха.

— Нет, это ничего,— сказала мама и откусила нитку — она пришивала петельку к новому полотенцу,— лишь бы вы друг друга уважали и берегли.

— Да я, мам, не понимаю еще ничего. Он ведь некрасивый. Ни капельки. Некоторые девчонки говорят, что он вообще урод,— Надя поморщилась, вспомнив, как Тамара раз сказала: «Веселкин, извините, урод».

— Главное, дочка, не красота. Красивых людей вообще мало.

— А что главное, мама?

Мама положила сложенное полотенце на колени и стала его поглаживать. Она сама задумалась.

Помолчали. Потом мама сказала, чуть качнув головой:

— Главное... Ну, может быть, доброта. Этот Алеша — он добрый?

— Д-да. Добрый.

— Вот и пиши. Вот и дружи.

Мама у нее замечательная. Все понимает. Другая бы раскричалась: не смей писать, нос не дорос и всякое такое. Никогда мама не смеялась над Надиными проблемами, никогда не называла их детскими и смешными. С первого Надиного класса они вместе решали, как следует относиться к мальчишкам, которые обзываются, грубят; как помириться с подругой, с которой поссорились из-за пустяка; что делать, если учительница кричит на тебя, а ты не можешь ей тем же ответить, и очень стыдно перед ребятами, что на тебя кричат... Обо всем этом они говорили с мамой, и одноклассницы Наде завидовали: «У тебя мама мировая!»

Правда, плохое в маме тоже было. Она, видно, уставала на ра-

боте и часто возвращалась домой сердитая, и еще у них что-то не ладилось с папой, они иногда целыми неделями не разговаривали друг с другом. Это Надю очень мучало, больше всего на свете ей хотелось тогда помирить родителей. Но вот уж во что ей не разрешалось вмешиваться, так это в их отношения. Здесь было полное табу́.

На следующий день по дороге в школу Надя представила, как Веселка стоял на углу. Вот здесь, под большим, распластавшимся над школьной крышей тополем. Длинный, тощий, в бело-голубой болоньевой куртке. Ссутулился, как обычно. Быть может, курил. В последнее время он начал покуривать. Аскольд Иванович про это узнал и стал Алешу прорабатывать, говорил, что с этим недостатком больших успехов в спорте Веселкин не достигнет. Алеша на это ответил, что он не курит, а балуется, здоровью это не повредит, а со спортом он завязывает: скоро в армию.

— Армия, это, брат, тоже спорт. Да еще какой,— ответил Аскофен.— Наши кроссы тебе, небось, семечками покажутся.

А бегал Алеша хорошо, даже очень. В прошлом году был чемпионом своей автономной республики, ездил на всесоюзные соревнования и занял там четвертое место.

В школе около кабинета истории Надя встретила Тайку. Та както ехидненько усмехнулась. Надя не придала значения этой усмешке.

Через два дня Тайка подошла к Наде со своей подругой. Подругу звали странным именем — Густя. Раньше Надя думала, что Густя — это прозвище от фамилии «Густова» или «Густищева». Нет, оказалось, имя. Ну вот, подкатили они к Наде на перемене между географией и черчением, и Тайка, с той же хитренькой усмешечкой, спросила:

— Ну что, написала Веселкину?

— Так ведь рано еще,— ответила Надя. На этот раз ей не понравилась Тайкина усмешечка. И вообще — почему она спрашивает об этом при подруге? Уже разболтала?— А с чего ты, Тая, взяла что я ему писать буду?

— Разве не будешь?

— Подумаю.

Тайку этот ответ озадачил.

— Как же. Надо писать, да-да,— поучающе сказала она.

— Напишу,— Надя двинулась к кабинету черчения. Оглянулась, на ходу бросила:— Когда нужно будет.

А сама подумала: да, напишет, но позже. Может, Алеша еще и не уехал, в городе. А если уехал — мчит себе в поезде в дальнюю дорожку в Хабаровский край. Туда ехать-то дней десять. Настолько Наде известно, солдатушек-ребятушек самолетами не перевозят.

Конечно, можно было узнать точно, уехал Алеша или еще нет. Спросить у Гриши Медведева. Как сосед, он должен знать. Но Надя боялась Гришу, ведь он обязательно спросит:

— А тебе зачем?— Посмотрит с насмешкой и потом подмигнет. Нет уж, лучше подождет Надя с месяц да и напишет, уж тогда

Алеша точно на месте будет. В форме солдатской. Надя никак не могла представить Алешу в форме — очень уж фигура у него была невоенная — длинная, нескладная, совсем даже и не спортивная.

А кроссы ему там, действительно, пригодятся.

Через неделю Тайка и Густя стали терзать Надю каждый день:

— Написала? Написала? Написала?

Надя уже пожалела, что показала записку Тайке. Но тут же подумала: ну и что, что показала? Как будто Тайка-проныра ее раньше не прочла! Записка же не в заклеенном конверте была и вообще не в конверте. Развернуть и прочесть ничего не стоило, тем более этой любопытной Варваре.

И чего они спрашивают с эдакими хитрыми рожицами, словно знают то, чего Надя не знает? Сначала Надя нормальным голосом отвечала:

— Нет, еще не написала.

— Еще нет.

— Успею.

А потом ей надоело, и при очередном расспросе она девчонкам нагрубила:

— Не писала и не подумаю. А вам-то что?

— Да нет, ничего, просто,— Тайка переглянулась со своей Густей, дернула ее за кончик рыжеватой толстой косы, они почему-то прыснули и убежали.

Прозвенел звонок на историю, и на этом уроке в Надю впервые вкралось сомнение. Чего девчонки все время спрашивают? Чего они рассмеялись сейчас? Может, думают, что Алеша ей не ответит? Смеются над тем, что он такой взрослый, и она ему, такому взрослому, писать собралась? А может, правда, не стоит писать?

Опять двадцать пять. Сколько мучалась этим вопросом, решила, что все, напишет и опять — сомневаться?

После истории кто-то подергал Надю за рукав. Надя стояла с одноклассницами у подоконника, они обсуждали, как получше поздравить с днем рождения Вовку Копылова из их класса, веселого компанейского мальчишку.

Надя обернулась. О господи!— опять Тайка. Ну и приставучая.

— Надь, иди-ка на минутку.

Надя уже хотела зашипеть на нее, но передумала. Сейчас Тайкино лицо было не насмешливое, а какое-то другое, виноватое, что ли?

Отошли.

— Надь, ты Веселкину не пиши. Да-да.

То пиши, то не пиши. Пойми эту Семенчину.

— Почему?

— Потому что понимаешь... адрес там придуман. Да-да.

Как придуман? Значит, мама права: не знают призывники своих адресов. Что ж, Алеша пошутил? Соврал? Но зачем?

— Как придуман? Почему?

— Не знаю,— Тайка пожала полными плечами и с невинной

улыбкой добавила: — Извини, но это я... мы... с запиской пошутили.

— Что? Пошутили?

И тут до Нади дошла, наконец, вся истина: не было никакой записки. Вернее, она была. Но не от Веселки.

От Тайки.

Треснуть бы ее по лбу. Надя больше не взглянула на Тайку, а то чего доброго не сдержалась бы. Стрельнула глазами по стоящей поодаль Густе, которая, видать, боялась сейчас подойти, издалека наблюдала, без усмешки. Трусиха. А Тайка — подлая-подлая, больше никакая. Как она здорово притворялась: «Чего там, а?» О записке спрашивала, которую сама сочинила. Ну актриса.

Надя отвернулась от Тайки, сузила глаза. Сердце бешено и оскорбленно колотилось. Ее обманули. Она сорвала зачем-то лист стоящей на подоконнике герани и стала растирать между пальцами. Кто-то из одноклассниц поморщился на резковатый запах:

— Чем это пахнет?

Прозвенел звонок и Надя как-то механически побрела в класс. Так плохо ей еще не бывало. Никогда.

Алеша не писал ей записки. Наверно, он вообще не вспоминал о ней, а она-то, она-то, все о Веселкине думала, и все из-за этой «записки». Она вспоминала летние дни, а записки не было, не писал ее Веселкин и не стоял он на углу школы под тополем, ожидая Надю.

Тайка, Тайка писала записку, рисовала своим аккуратным почерком, даже не изменяя его. Ведь Алешиного почерка Надя не знала, как не знала и Тайкиного... Наверно, Тайка умирала от смеха, представляя, как Надя будет писать Веселке по липовому адресу и потом ждать ответа.

За что же она так с Надей? За лето? За чернику из Алешиной ладони? За облака над озером, над ней и Алешей? За костер в лагере в последний вечер, когда они с Алешей сидели рядышком, и он выкатывал ей веточкой печеную картошку? В тот вечер Тайка как-то странно, скучно глядела на Надю с Алешей. Аскофен протягивал ей картофелину, а она не замечала, пока тренер не сказал:

— Тая, я перед тобой как мамка с соской!

Ничего плохого Надя Тайке не делала. На секции они считались подругами, все же из одной школы и ровесницы к тому ж. Да и правда Надя считала, что у нее с Тайкой самые дружеские отношения. За что же она так отплатила?

Ну и Тайка.

Хорошо, что сейчас созналась, а то Надя писала бы в никуда, позорилась. Совесть, что ли, в Тайке проснулась? Или ее девчоночья душа не могла больше носить в себе тайну?

После занятий Надя прошлась по тому месту, где по ее представлению стоял Алеша и сильно прошаркала этот пятачок подошвами, словно зачеркивала видение, несуществующий Алешин след. Весь оставшийся день ей хотелось плакать.

Был вторник. Плюнуть бы на секцию. Но Надя пошла. А то Тайка бы торжествовала: вот как бедняжка переживает. Опоздала

на этот раз сознательно. Не желала в малюсенькой раздевалке с Тайкой встречаться.

Раздевалка была пуста. Ребята разминались на тренажерах. Тайка качала пресс. Ее светлые волосы развевались из стороны в сторону, когда она наклонялась и выпрямлялась.

Через приоткрытую дверь раздевалки Надя услышала, как тренер веселым голосом кому-то сказал:

— О-о, кто к нам пожаловал!

Кто-то негромко поздоровался, затем послышались возгласы ребят:

— А мы думали, ты уже в строю, ать-два, ать-два!

— Веселка, почему тебя не забрили? Мой брат уехал.

И еще кто-то что-то говорил.

У Нади опять проявилось сердце. Алеша. Алеша. Алеша. Как хорошо, что он пришел. Как страшно, что он пришел. Как хотелось выскочить навстречу! И страшно было выходить: записка. Конечно, Надя понимала, что Алеша о ней ни слуху ни духу, но все равно было стыдно: ведь Тайка-то знала. А она была здесь.

Ребята разговаривали с Алешей, и время от времени Надя слышала, как они смеются.

Ей тоже хотелось смотреть на него и смеяться. Но там Тайка. Пусть не думает, что Надя от него без ума, пусть так не воображает. Может, не будет больше так глупо шутить.

В раздевалку просунулась Тайкина рожица. Легка на помине.

— Надька! Веселка пришел, не слышишь?

— Уйди,— буркнула Надя. Она видеть Тайку не могла. Голубоглазое Тайкино лицо с ухмылочкой полных губ вызывало в ней сейчас только отвращение.

— Вот глупая, выйди.

— Отстань.

— Ты что, из-за записки?— Тайка показалась в дверях вся — в синих спортивных трусиках и красной футболке.— Чудачка, он же ничего не знает!

— Скройся с глаз.

— Ну и зря,— Тайка поджала губы и испарилась. Обиделась.

Надино сердце прыгало и прыгало. Снова вспомнился лагерь и потом поезд. Как весело они возвращались домой, один за другим приканчивая купленные в дорогу арбузы... Как дружно провожали Алешу в Москве, а он, вздернув на плечо сумку, уходил от них в пасть подземного перехода на Белорусском вокзале. У самой «пасти» Алеша оглянулся, помахал ребятам и посмотрел на Надю отдельно от всех.

Выйти? Не будет Веселкин разговаривать вечность — Аскофен не разрешит. Алеша скоро уйдет.

Как же хочется его увидеть. Эти его разноцветные ресницы.

«Да я не к Веселкину подойду, а ко всем!»— Отчаянно решила Надя.— Подойду, да и все!»

Надя быстро натянула на спортивные шорты брюки, и услышала, как Ольга громко сказала:

— Надя-то? Да она, вроде, приходила.— И крикнула на весь манеж:— Надька, где ты?— и тихо, Алеше:— Наверно, в раздевалке.

Видно, Алеша спросил о ней. Надя поняла это и ей захотелось спрятаться.

— Надька!— закричало сразу несколько голосов.— Кирушева!

— Тобой тут солдаты интересуются,— это насмешник Гриша.

Алеша стоял у входа, куда плохо попадал свет. Он был в маленькой спортивной шапочке, бело-голубой куртке, сутулился.

Надя подошла, робея.

— Привет,— сказал Алеша.

— Привет.

Ребята стояли и смотрели на Надю с Веселкой. Тренер заметил это и тут же прогнал всех на беговую дорожку.

Они остались один на один. Надя стояла опустив голову, как провинившаяся.

— Как живешь?— спросил Алеша.

— Нормально.

Что еще ответишь на этот вопрос. Не расскажешь же про Тайку с ее дурацкой запиской. Не расскажешь и о том, как она часто думала о нем.

Надя оглянулась и увидела, что Тайка не бегает вместе со всеми, а стоит у стены и смотрит на них с Алешей. Встретившись с Надиным взглядом, она зачем-то посмотрела на свои ладони и принялась на них дуть.

— А я в армию ухожу,— сказал Алеша.

— А я думала, ты уже ушел,— ответила Надя.

— Я в деревне у бабушки с дедушкой был. С ними прощался.

«Вот почему он не заходил!»— обрадовалась Надя.

— Служи хорошо,— сказала Надя и взглянула на Веселку впервые в этот день. Она тут же увидела его разноцветные ресницы, но скорее увидела в воображении, ведь здесь, у входа, вдалеке от окон, было почти темно. Надя быстро опустила взгляд, потому что ее смутил взгляд Веселки — пристальный-пристальный. Он смотрел на Надю ее любимым взглядом — чуть исподлобья, когда глаза у него становились больше. Еще больше они казались в полутьме.

— Ты придешь меня провожать?— спросил Алеша.— Утром в субботу.

— У нас в субботу уроки.

— Значит, не придешь?— Алеша помолчал, потоптался.— Ну тогда я пошел?— он сказал это с какой-то вопросительной интонацией в голосе, словно спрашивал у Нади разрешения, можно ли ему уйти.

Надя кивнула — можно, но Веселка не уходил.

— Мы около Дворца культуры «Металлист» собираемся,— сказал он и повторил:— В восемь утра.

— У нас уроки,— прошептала Надя, носком кеды чертя невидимые линии на резиновом полу.

За Веселкиным захлопнулась дверь, и Наде захотелось броситься вслед за ним и закричать: «Я приду, Алеша! Я с уроков сбегу, но приду! Ты меня жди!»

Но она стояла у входа и тупо смотрела в пол.

Неслышно подошла Тайка.

— Уходит?— спросила она.

Надя кивнула. Она уже нисколько не злилась на Тайку. Да ну ее, глупая она, больше никакая.

— Когда?— тихо спросила Тайка.

— В субботу, в восемь. У «Металлиста».

— Ну-ну. Да-да.

В пятницу после уроков, краснея и бледнея, Надя подошла к классной руководительнице. Ирина Федоровна сидела за столом и пересчитывала деньги, которые ребята сдали ей в столовую на обеды.

— Что, Надя?— спросила она, досчитав и запихав деньги в большой, похожий на косметичку, кошелек.

— Ирина Федоровна, можно мне завтра пропустить два первых урока?

— Какие?

— Алгебру с геометрией.

— Ну, Кирушева, самые важные. У тебя и так геометрия хромает. А что стряслось?

Конечно, Надя знала, что классная о причине спросит. Заколебалась — что ответить? Соврать? Вот уж чего Надя не любила, так это вранья — соврешь, как будто что-то несвежее съешь, надолго противно становилось. Сказать правду? А если классная посмеется?

— Мне надо одного парня в армию проводить.

Взмах пушистых Ирининых ресниц. Удивленный взгляд ее светлых глаз. Красивые глаза у классной руководительницы и вообще она красивая.

Ирина Федоровна ожидала услышать от Кирушевой все что угодно, только не это. Надя Кирушева относилась к мальчикам не так, как остальные девчонки. Записочек им не писала, на дискотеках с ними не танцевала. Ирина Федоровна считала ее даже чуть недоразвитой в этом отношении. А тут, здрасьте, пожалуйста: «парня в армию». Вот она, пословица: в тихом омуте черти водятся.

Классная окинула Надю с головы до ног. Перед ней стояла тоненькая, с блестящими огромными глазами девочка. Длинная шейка выступала над белым воротничком. Вид дикарки. Такой Ирина Федоровна представляла себе Белу из повести Лермонтова.

«Парня в армию». Ладно бы спрашивалась десятиклассница. Интересно, ее родители знают?

— А не рано тебе, Кирушева, знакомых в армию провожать? Может, подрасти еще надо?

Надя молчала, смотрела вниз. Красивая Ирина Федоровна, а не поймет.

— Мама об этом знает?

Надя кивнула.

— И что же она?

— Разрешает.

— Зря,— как отрезала Ирина Федоровна и сухо добавила:— Хорошо, раз мама разрешает, я тоже разрешу,— и вздохнула, подумав: «Я бы своей не разрешила».

Ранним субботним утром фойе Дворца культуры «Металлист» было забито битком. Стриженные призывники такие ушастики. Парни были веселые в отличие от своих грустных родных. Если среди девушек-провожающих еще встречались оживленные лица, то среди родителей — ни одного. У матерей заплаканы глаза. Где-то в углу, странно для такой рани, играла, взвизгивая, гармошка. Но скоро она замолкла, очевидно, тоже опечалясь.

Многие парни были с гитарами. Почему-то гитары казались Наде верными подругами этих без пяти минут солдат. Более даже верными, чем девушки — все ли дождутся парней?

Один паренек, веселый, как все, держал на руках маленькую девочку. Девочка была в белом платочке, с надутыми губками. Наверно, не выспалась, ее принесли сюда, едва разбудив. Парень то и дело целовал девочку то в щечки, то в губки, то в лобик, а она отталкивала его пухлой ручонкой.

— Какой папаша молоденький,— сказала рядом с Надей какая-то женщина, покачав головой. И Надю как громом ударило: папаша! Этот мальчик-призывник — папаша! А вот и ее мама рядом — совсем девчоночка, младшие Ольги и Тамары с секции по виду!

Надя испугалась. Значит, и у Алеши могла бы быть уже дочь или сын? И могла быть жена? Боже, какой он взрослый! А что делает здесь она, Надя?

Надя стала протискиваться к выходу, чтобы убежать, и тут увидела Алешу.

Он стоял в той же голубой шапочке, в которой приходил три дня назад на секцию, в манеж. Куртка была другая, похуже. Что на ногах — не видно. Вряд ли кроссовки, наверное, какие-нибудь старенькие кеды. «Кроссовки, кеды»,— Надя рассердилась на себя. Об этом ли надо думать в такие минуты? Приходят же в голову глупости.

Подойти к Веселке Надя не решалась — с ним стояли его родители. А сам он посматривал по сторонам, может, искал ее, Надю.

Алешины родители оба были низенькие, коренастенькие. Алеша высокий, не в них. У матери лицо заплакано. Отец улыбается, а глаза у него голубые-голубые, даже из Надиного угла было видно. У него такие голубые глаза, каким было небо вокруг облаков, когда они

с Алешей плыли по озеру. А у Алеши глаза темные — мамины... Вот его мама снова заплакала, вот Алеша улыбнулся, обнял ее, что-то говорит, успокаивает. Как редко он улыбается, и как хороша его застенчивая улыбка.

«Подойди к нему»,— шептал Наде внутренний голос, но она боялась и только вставала на цыпочки, чтобы видеть Алешу с родными.

Потом все повалили к дверям. Надя вышла последней.

На площади перед Дворцом культуры устроили митинг. Надя плохо слышала, о чем говорили люди. Она потеряла Алешу и искала его глазами в толпе. Казалось, стоит ей сейчас увидеть Веселку, она тут же к нему протолкнется. До нее долетали обрывки фраз: «Служите достойно», «Солдаты с Севера никогда не подводили»... «Афганистан»... После этого слова какая-то мама рядом с Надей заплакала, стала ладонью утирать слезы. И Наде в глаза бросился веснушчатый паренек, беспечно жующий жевательную резинку.

Вдруг этот паренек попадет в Афганистан? А вдруг и Алеша... Он будет воевать и может быть... может...— Надя не позволила себе додумать, прогнала страшную мысль, и стала себя ругать: вот дура, не подошла, ведь он ждал, ждал ее!

Глаза ее снова лихорадочно забегали по толпе.

Она увидела Алешу, когда призывники стали рассаживаться в автобусы. Алеша стоял чуть сбоку от входа в автобус, стоял рядом с какой-то девушкой. Его родители были поодаль, а девушка близко. В куртке, в джинсах. Откуда она взялась здесь? Что за девушка? Значит, Алеша пригласил провожать не только ее? Вот как. Хорошо, что Надя не подошла к нему, попала бы в неловкое положение, молодец, что не подошла.

А куртка у девушки такая же, как у Тайки Семенчиной. И кроссовки, между прочим, тоже, с яркими голубыми задниками.

Ой, да это Тайка!

Вот зачем она спрашивала у Нади, когда Алеша уходит.

Пришла сама, без приглашения. Отчаянная.

А зачем, спрашивается, пришла? Чтобы испортить настроение Наде? Мало ей записки. Смотри-ка, разговаривает с Веселкой, как ни в чем не бывало, улыбается. А она, Надежда, даже подойти трусит. И ведь знает, что Алеша ждет ее, а трусит.

Да почему же она боится? Да кому нужен этот ее страх, это ее глупое стеснение, когда чувства эти не только ей делают плохо, но и другому?

Надя набрала в грудь побольше воздуха и, расталкивая толпу (иначе не получалось), ринулась к Алеше. Но пока она пробиралась, во всех машинах зафырчали моторы, и Веселка вспрыгнул на подножку. Надя подбежала к дороге, когда мимо проплыл уже третий автобус. Алеша был во втором. Вот еще один автобус, и еще, а вот уже ничего нет, только туман застилает глаза.

Тайка тронула ее за плечо. Надя сразу узнала, что это она. Кто еще может быть?

— Возьми,— говорила Тайка и протягивала Наде что-то. Что-то маленькое и белое. Носовой платок? У Нади есть свой. Она вынула из кармана платочек и вытерла мокрые глаза. Туман сразу рассеялся.

— Возьми,— повторила Тайка,— он велел передать.

Что это? Опять записка? Надя недоверчиво смотрела на сложенный квадратом листок. Не надоест же Тайке глупостями заниматься. Кто ей сейчас поверит?

Надя пожала плечами и отвернулась от Тайки.

— Я подошла к нему, потому что тебя не было,— сказала Тайка, вновь очутившись перед Надиным лицом.— Да-да. Если бы ты была с ним, я бы не подошла, да-да. А так он стоял грустный, я и подошла.

Тайка бормотала, словно оправдывалась перед Надей. Записку она по-прежнему держала в протянутой руке.

— ...А я уроки сегодня прогуляла и вообще сегодня в школу не пойду, да-да. Не могу в школу. Ну возьми, Надя, ну пожалуйста, это от Алеши.

Она почти насильно сунула в руку Нади записку и пошла прочь.

«Надя, как жаль, что ты не пришла. Я ждал. Но ничего. Может, ты мне захочешь писать. Адрес тебе передаст Гриша, я пока не знаю, где буду служить. И твоего адреса не знаю. Пиши мне, Надюша.

Алеша».

Алешин почерк совсем не был похож на Тайкин — мелкий, плохо разборчивый. К тому же, он наверно спешил, когда писал. Пока Надя разбирала записку, Тайка успела уйти далеко. Она шагала, сгорбившись, и по ее спине Надя вдруг поняла, что Тайка тоже любит Алешу.

И еще поняла, что Тайке хуже, чем ей.

ДВОРНИК

Дом построили двухэтажным деревянным. Сперва он был серым. Въехали в него молодые пары с малышами. Через два года дом покрасили коричневым, еще через два — синим.

В первый же год, осенью, жильцы посадили под окнами деревья. Не успели окрепнуть чахлые саженцы — их подавили машины. Жильцы посадили новые. Сгубили и эти. Но каждую осень упрямо сажали. По привычке, что ли?

Шли годы, дом менял цвета, садик — деревья. Менялись и жильцы — старели или подрастали.

Сейчас дом был выгоревшего зеленого цвета, его вот-вот должны были снова покрасить. В садике качались две рябинки и несколько худосочных березок.

Олеся Осипова, жившая в этом доме, ходила в восьмой класс обычной десятилетки. Генка Томов, тоже живший в этом доме, только в другом подъезде, учился в восьмом классе специнтерната для глухонемых. Дома бывал редко — половину субботы, воскресенье да каникулы.

Олеся была длинная нескладушка с карими, мамиными, глазами. Генка — синеглазый, румяный, русые кудри вились кольцами. Когда Олеся изредка встречала его во дворе, то думала: «Надо же, какой красавчик». Учился бы он по-прежнему в их классе, одноклассницы втрескались бы в него по уши. Жанка — та бы точно влюбилась. Жанка страсть как мечтала встретить на жизненном пути такого вот синеглазого кудрявого «принца».

— Пусть он хоть пьяница будет, хоть подлец — лишь бы красивый.

— А глухонемой тебя, как, устроит?— спросила раз Олеся.

Жанка даже обиделась.

— Ну у тебя, Олеська, и фантазия.

— Причем здесь фантазия? В нашем дворе такой «принц» живет. Ужасно красивый. Глухонемой только.

— Жаль,— подумав, сказала Жанка.— А то бы я с ним, конечно, познакомилась.

— Он раньше в нашем классе учился,— продолжала Олеся.— Но уже не помнит никто.

— А почему же тогда глухонемой?— удивилась Жанка.

— Осложнение после менингита. Давно, еще в первом классе.

— Жаль,— повторила Жанка.— Глухонемые в мои планы не входят. Пусть хоть какой, лишь бы не глухонемой. Словечком не перемолвишься,— и она противно, как показалось Олесе, хихикнула.

Олеся хорошо помнила тот солнечный день, когда они с Генкой впервые шли в школу. У обоих спереди не хватало по одному зубу, и стоило темноволосой Олесе и светлоголовому Генке улыбнуться, как они начинали походить на брата и сестру. Их мамы шли позади под ручку, оживленно обсуждали что-то. В классе они посадили Олесю и Генку за одну парту.

А потом Генка исчез. Говорили, заболел. Болел долго, и к Олесе посадили другого — новичка. А потом она слышала, как мама рассказывала отцу:

— Гену-то Томова врачи еле спасли.

— Какого Гену Томова?— спросил отец.

— Да мальчика ж с соседнего подъезда. С Олесей нашей ровесники.

— А что с ним?

— Осложнение. Теперь глухонемым останется.

— Не повезло,— покачал головой отец.

— А родителям какая драма.

Вот и все, что узнала Олеся про Генку. Пожалела, конечно, да скоро забыла о нем.

Генкина мама, тетя Граня, работала кондуктором. Городские автобусы уже давно без кондуктора, а тетя Граня ездила в район. Билеты на этом маршруте по разной цене — смотря какое расстояние. Так что без кондуктора — никак.

Когда Олеся была помладше, она с дворовыми ребятами бесплатно каталась на теть-Гранином автобусе. И Генка с ними, уже глухонемой. Сядет, прилипнет к окну, и будто нет его.

Это было настоящее событие — поехать без родителей в далекое — тогда казалось очень далекое — село, да еще бесплатно! Они доезжали до Выльгорта, районного центра, на последней остановке высыпали вслед за пассажирами, скидывали сандалии и кувыркались в траве — тут же, у остановки. Взбивали белую дорожную пыль рядом с бревенчатыми крепкими домами. А Генка и на конечной остановке от окна не отлипал, хотя тетя Граня говорила ему что-то на ихнем, немом, языке, забавно показывая пальцами, помогая губами, глазами, языком. Генка упрямо мотал кудрявой головой и не трогался с места.

Тогда он других, нормальных ребят, очень стеснялся.

Генкин отец, дядя Трофим, работал на кирпичном заводе. Он был бледный, с мелкими морщинками возле губ. Неулыбчивый, сутулый, словно чем-то придавленный, он всех сторонился. Скользнет тенью к колонке, наберет воды и — домой. Поздороваешься с ним, он не ответит. Олесе казалось, что дядя Трофим стыдится своего Генки, поэтому не здоровается ни с кем.

Когда Генка стал учиться в специнтернате, Олеся встречать его почти перестала. Так, редко-редко увидит.

А в восьмом классе, весной, встречи с ним стали случаться каждую субботу. В субботу он приезжал домой. Да, началось весной, примерно с апреля.

В конце марта (это было тоже в субботу, поздно вечером) Олеся с мамой развешивали на чердаке белье. Был у них в доме чердак, куда из каждого подъезда вела пригвозженная к стене железная лесенка. Олеся светила маме фонариком, мама резко встряхивала теплые еще простыни, от которых валил пар, и развешивала их на веревки.

И тут фонарик погас. Видно, лампочка перегорела.

Их обступила такая плотная темень, что боязно было шаг ступить — вдруг куда-нибудь улетишь. Но, пообвыкнув, Олеся увидела слабый огонек на другом конце чердака — там, наверно, тоже кто-то белье развешивал. На крыше колебались огромные ломаные тени.

— Сходи туда, Олеся, за спичками,— попросила мама,— похоже, свечка у них. Шею только не сверни, осторожнее. Беда прямо — ведь чуть-чуть осталось.

Олеся медленно пошла на свет, ощупывая пространство перед

собой. Не стукнуться бы о какую-нибудь балку. Под ногами хрустел шлак, которым был посыпан чердачный пол.

Белье развешивала тетя Граня, Генкина мама. Генка был тут же, держал свечу. Держал ее перед собой, и пламя хорошо освещало его нежное лицо с большими глазами. Олеся даже остановилась — до того он был сейчас красивый. Русые кудри, освещенные пламенем, спадали на плечи. «Им что, разрешают не стричься?— Еще подумала Олеся.— Ну и красавчик, прямо как с древней картинки».

Олеся вспомнила открытку, которую любила разглядывать у бабушки. Открытка была дореволюционная, на ней изображены ангелы со свечами в руках. Ангелы-херувимы — объясняла бабушка,— окружали колыбель из сплетенных веток, в которой спал розовощекий младенец — Христос. Вот одного из таких херувимов и напомнил Олесе Генка со свечой.

Парень поднял глаза, увидел Олесю и у него даже рот немного открылся. Как у маленьких, когда их что-то по-настоящему изумляло.

Олеся потом поняла, почему Генка так удивился. Он же не слышал ее шагов по хрустящему шлаку. Олеся возникла перед ним как привидение. Она позже про себя смеялась: «Ну напугала парня. Нарисовалась. Теперь бояться меня станет. Херувим».

Она взяла у тети Грани спички, а назавтра занесла соседям новый, полный коробок, потому что теть-Гранин весь израсходовала, когда светила маме. Тетя Граня не хотела брать:

— Что ты, Олеся, копейка ведь.

Но тут в прихожую вышел Генка, сообразил в чем дело и сам взял коробок из Олесиных рук. Олеся подумала: «Это ж надо, какой хозяйственный».

После «чердака» и начались встречи по субботам.

Олеся возвращалась из школы и теперь всегда у ее подъезда стоял Генка. Держался за ствол саженца-березки. И улыбался. Улыбка у него была какая-то странная — неподвижная. Генка смотрел на Олесю по-доброму, не мигая, но всякий раз девочка быстро прошмыгивала мимо него в подъезд.

Почему-то она боялась Генкиной неподвижной улыбки. Да ну, как юродивый.

А после третьей субботы у нее мысль мелькнула: ну а если у Генки и впрямь не все дома? Может, болезнь у него и мозг задела? Раз возникнув, эта мысль уже не покидала Олесю. Она даже перестала обращать внимание на Генкину красоту. Пусть лучше криворотый, чем красивый да балбес. Кто знает, что от таких ждать? Как бы это ей с Генкой не видеться?

А встречи учащались. Вряд ли они были случайными.

В воскресенье пошлют Олесю в магазин, она обратно — а Генка уже ждет, за березку держится. И опять странно улыбается. Она ему тоже улыбнется, кивнет из вежливости, лишь из вежливости, и — в подъезд.

Или за водой пойдет. Возвращается с полными ведрами и непре-

менно Генку с пустыми встретит. Увидит он Олесю, остановится, ведро с ведром в одной руке соединит и смотрит-смотрит, как она воду тащит. Очень ему интересно. Как-то раз руку протянул, чтобы помочь, за дужку ведра взялся было, да Олеся так от него шарахнулась, что едва ведро не выпустила, себе и ему ноги облила. Больше он не пытался помочь. Только вслед смотрел. Олесе до того не по себе становилось, что она то и дело спотыкалась.

Был конец мая, воскресенье.

Олеся сидела перед раскрытым окном, зубрила билеты — близился экзамен. Но мало что понимала — была весна, бушевало солнце. Деревья уже сбросили рукавички, и теперь всюду пахло листвой. Олесино окно выходило не во двор с чахлыми саженцами, а на улицу, вдоль которой росли хорошие тополя. На втором этаже чудно пахло клейкими горьковатыми листочками.

И тут в окне как из-под земли возникла чья-то физиономия.

Олеся испуганно ойкнула, но тут же успокоилась: это был Генка. Потом затосковала — ну почему он преследует ее? И как здесь, на втором этаже, очутился?

Тут Олеся вспомнила, что их дом в который уж раз перекрашивали, а лестницу маляры не убрали на выходной. По ней-то и забрался Генка. И опять дурацкая улыбка при нем.

Олеся хотела сразу же захлопнуть окно, но Генка вынул из кармана спичечный коробок и поставил на подоконник. Закурить он у нее, что ли, просит? Еще не хватало!

Олеся приставила к губам два пальца, изобразив, что курит, и помотала головой — этого добра у нее, мол, не водится. Генка так решительно закрутил головой, что Олеся поняла: не в куреве дело. Тогда в чем?

Взгляд Олеси привлекла божья коровка, плутавшая в Генкиных кудрях. Было приятно смотреть на красивого жучка после долгой зимы. На жучка, но не на Генку. Олеся махнула парню рукой: уходи. Он понял, убрал с подоконника коробок и стал спускаться, останавливаясь на каждой перекладине лестницы и восторженно глядя на Олесю снизу вверх. Олеся пожала плечами, усмехнулась и закрыла окно. Она увидела, как коробок выскользнул из Генкиных рук и упал на землю. Генка проворно сбежал с лестницы, поднял коробок, обдул со всех сторон и спрятал в карман. И снова заулыбался Олесе.

Олеся резко отвернулась и отошла от окна.

Через два дня после экзамена Олеся поехала в Выльгорт. Нужен был спортивный костюм, а в городских магазинах не продавали. В Выльгорте же был приличный универмаг.

Войдя в автобус, Олеся увидела на кондукторском месте тетю Граню. Удивилась. Столько воды утекло с тех пор, как они малышами катались на автобусе, Олеся никак не думала, что Генкина

мать все там же. Только сейчас она заметила, что тетя Граня постарела. Нет, морщинок на ее лице еще не было, но все же годы взяли свое. Лицо Генкиной мамы было как бумага, которую хорошенько помяли, а потом попытались разгладить. И лишь синие, как у Генки, глаза, смотрели молодо и ясно.

Олеся приветливо кивнула ей, протянула мелочь. Тетя Граня замахала руками:

— Что ты, Олесенька, что ты!

Прежней близости, как в детстве, когда Олеся выбалтывала тете Гране все новости, не было. Олеся прошла вперед, села на свободное место. И затылком чувствовала, что тетя Граня на нее поглядывает.

У самого райцентра Генкина мама подошла к Олесе.

— Ты в магазин?— спросила она.

Горожане, если ездили в Выльгорт, так только в магазины — универмаг, книжный, хозяйственный.

— Да,— ответила Олеся и поднялась — скоро была ее остановка. Тетя Граня оторвала кому-то билет, двинулась уже в глубь салона, но вдруг повернулась всем корпусом, тронула рукой Олесино плечо и вполголоса сказала:

— А мой-то дурачок, слышь, в тебя влюбился.

Олеся покраснела. Почему-то стало стыдно.

— Помнишь, ты коробок-то спичечный нам принесла? Так ведь и спит, и ест с тем коробком — не расстается,— тетя Граня безнадежно махнула рукой.

А Олеся вспомнила коробок на своем подоконнике. Вот, значит, что за коробок.

— Ты не сердись на него,— тихо продолжала тетя Граня.— Он плохого не сделает, что ты! Дурачок он.

Олеся насторожилась. Почему его тетя Граня дурачком называет? Значит, Олеся правильно догадалась? Значит, верно, что Генка не в своем уме?

Автобус остановился, но Олеся не вышла.

— Твоя остановка, Олеся, что ты!— всполошилась тетя Граня.

— Ничего, дальше поеду,— ответила Олеся.— Тетя Граня, а почему вы Гену дурачком называете? Он что, умственно неполноценный?— сказав это, Олеся прикусила губу. Вдруг тетя Граня обидится?

— Ой, да что ты! Что ты!— Генкина мать даже испугалась.— Слышать и говорить не может, это да, а все остальное — в порядке.

— Почему же тогда дурачок?

— Дурачок-то?— Тетя Граня ласково посмотрела на Олесю.— А разве нормально в такую девочку влюбиться? Нет, чтобы в кого-нибудь из своих, из этих...— она не договорила, но Олеся поняла.

Как многие четырнадцатилетние девочки, Олеся была самого плохого мнения о своей внешности. Худая, лицо маленькое. Еще год назад в школе ее «Кащейкой» дразнили. Слова тети Грани «в такую девочку» порадовали ее немного. Но то, что влюбился в нее Генка, глухонемой, пусть даже очень красивый, но глухонемой,

пусть даже и с умом у него все в порядке, но глухонемой — радости не приносило.

— Тетя Граня, а после восьмого он что делать будет? Поступит куда?

— Нет, устрою где-нибудь дворником, пусть дома живет. Ой, выходи, Олеся, выходи, опять проедешь, что ты!

Олеся вышла и поплелась в обратную сторону. Думать, что Генке всю жизнь придется дворничать, было грустно. И что влюбился в нее именно он — тоже печально. Другие мальчишки в ее сторону и не глядят даже.

После экзамена Олеся с классом поехала на юг, в лагерь труда и отдыха. Они убирали черешню, потом вишню. Было весело, хоть и работали много. И Олеся совсем забыла про Генку. А когда вернулась, в аэропорту ее встретили родители, усадили в новую, недавно купленную, машину и повезли на новую, только что полученную, квартиру.

А Генка остался в старом двухэтажном доме. В прошлом.

Золотой осенью в конце сентября несколько десятиклассниц гуляли по парку. Был самый разгар листопада. По краям тротуаров листья лежали уже сметенными в кучи. Ветер выхватывал из них одиночные и гнал, гнал. Они бежали по асфальту и газонам, то и дело переворачиваясь вверх хвостиками и были похожи на рыжих маленьких собачонок.

Девушки со смехом брали из куч охапки листвы и кидали друг в друга.

В конце аллеи стоял дворник с метлой. Он-то и сгребал листья в кучи, а сейчас стоял, держа метлу перед собой и глядя на девичью стайку. Вернее, он смотрел на одну девушку — Олесю. Дворник был молод, хорош собой.

— Смотрите, дворник!— воскликнула Жанка.— Ух, сейчас нам попадет!

Они поравнялись с дворником, который по-прежнему смотрел только на Олесю.

— Ой, принц,— прошептала Жанка, когда они прошли мимо.— Олеська, чего он на тебя пялится? Ты чего, его знаешь? Познакомь!

Олеся не слышала. За спиной стоял Генка — дворник был он. Стоял он и перед глазами. Олесю поразил Генкин взгляд. Совсем какой-то взрослый. Без улыбки.

Никакой он не дурачок. Он такой, как Олеся, Жанка, как мальчишки из класса. Подумаешь — улыбался. Рад ей был, вот и улыбался. Что ж, ему и улыбаться нельзя? А как же он еще скажет, что любит ее? Ведь он все время ей об этом говорил!

Дворник. Принц — и дворник. Почему?

— Красавчик,— бормотала Жанка. Она то и дело оборачивалась.— Олеська, он все еще на тебя пялится!

Генка смотрел до тех пор, пока Олесина красная куртка не стала просто пятнышком, маленьким и ярким, как осенний осиновый лист. Потом он опустил руку в карман и крепко, до хруста в пальцах, сжал там спичечный коробок.

ЛИШНЯЯ НОВИКОВА

Мой друг некрасивый, ну и что? Да, он курносый и передний зуб у него немного кривой, ну и что? Думаете, я вижу его нос или зуб? Чёрта с два я на это обращаю внимания! Я его и «Курносиком» не называю, как одноклассники, особенно девчонки. Дашка Киселева меня, например, бесит. Тянет, да так ласково: «Курносик, задачу решил?» Я скоро Дашке Киселевой в лоб закачу.

Звать моего друга Пашей. Кто не хочет по имени, пусть по фамилии кличет: Климов. Паша Климов, и нечего.

Я вообще-то не стал бы о Пашином носе вспоминать. Но дело в том, что мой друг влюбился. И когда это неделю назад случилось, он сам заметил и свой нос, и свой зуб злополучный.

Я ему говорю:

— Плюнь, не в этом главное. Ты — человек.

— Не утешай, Тимка,— он на это.— Некрасивого Новикова не полюбит.

— Больно она-то красивая.

— Она? Ого!

А по мне, так в Новиковой ничего особенного. Глаза, как в нашей заполярной речке: прозрачные и холодные. На их дне зрачки как антрациты. Не знаю, что Паша в Новиковой нашел. Семь лет учились вместе — не замечал, а на восьмой, в один осенний вечер, влип непонятно как.

В тот вечер мы с Пашей возвращались с рыбалки. Улов был небогатый — по нескольку окуней только и поймали в озере, но довольны мы были по уши. Ну и что, что немного рыбы? Я нашу тундру люблю, особенно осенью. Выйдешь из города, а вокруг мох разноцветный, мягкий, как спина у кошки. Копейки листьев на карликовых березках тоже разноцветные. И тихо так. Кажется, слышно, как паучок свою паутину плетет. Птиц уже не слышно, на юг улетели. Когда мы с Пашей из города вылезаем, прямо счастливыми делаемся. Паша молчун, а тут песню заводит.

Правда, тут же замолкает.

Жалко, осенью темнеет рано. Шесть вечера — уже темнота. Возвращаемся на огни Воркуты, они над ней как корона — не потеряешься.

Ну вот, возвращаемся мы с рыбалки, уже по Ленинградской идем, вдруг на нас вылетает из-за угла какая-то девчонка. И мы слышим, что она ревет как белуга. Я схватил ее за руку и спрашиваю, чего она?

Она руку вырвала и побрела дальше. Мы с Пашей в темноте переглянулись (два фонаря над нами как раз не горели) и — за ней. Куда такую несчастную оставлять? Догнали. Я из кармана фонарик вытащил и на девчонку направил:

— Девушка, что случилось?

И чуть фонарик не выронил. Это же Новикова Алена!

— Новикова, ты что, с ума сошла? — грубо спрашиваю.

— Ой, кто это? — всхлипнула Алена.— Тимка, ты что ли?— Она меня по голосу узнала.— Ты с Курносиком?

— Я с Климовым,— грубо поправляю.— Чего ревешь-то?

— Ой, мальчишки,— говорит, а у самой голос дрожит, вот-вот сорвется.— Я из дому ушла, а куда мне идти — не знаю.

— Как это,— говорю,— из дому ушла? Почему?

— Не могу, лишняя я там...

— Почему, почему?

— Та-ак...

— Не хочешь говорить — привет! Пошли, Паш...

— Подожди,— мой друг отвечает.— Новикова, пошли к нам, у меня мама хорошая. Пошли? Переночуешь.

Новикова еще пуще залилась.

— Они там... целуются, как голубочки...

— Кто целуется-то? — я прямо опешил.

— Мать с этим... му-ужем новым. Медовый месяц у них...

— Ну медовый, дак чего ревешь? Так и положено!

— Лишняя я, маль... чишки...

Значит, маман Алены замуж вышла. Понятно.

Видел я мать ее. Красивая такая, молодая. Если бы я не знал, что Новикова ее дочь, то дал бы ей лет двадцать пять, не больше.

— Я... я...— Новикова еле дышит из-за рева своего.— Я лучше к Раисе пойду.

Раиса — наша классная, по литературе учит. Она, точно, классная женщина, мы все ее во как уважаем. Но Паша говорит:

— К Раисе, конечно, можно, но у нее, понимаешь, муж и дети дошкольные. А мы с мамой вдвоем.

Пашин отец погиб в шахте пять лет назад, тогда в лаве взрыв газа случился. А Новикова со своей матерью всегда жили одни, Алена, пока не поумнела, со всеми спорила, что отца у нее вообще не было.

Словом, пошла Алена к Климову, уговорили.

А назавтра Паша рассказал, что Новикова посидела у них час, а как Пашина мать стала ей постель готовить, сорвалась, как бешеная и — к дверям.

Паша ее удерживать, да куда там.

— Знаешь, Тимка,— тихо сказал мой друг и замолчал, нахмурился.

Была перемена между алгеброй и геометрией, наши девчонки и мальчишки стояли у разных подоконников, о чем-то судачили. Микушев Жорка вспоминал детство: кидал в стену мягкий теннисный мяч и ловил его одной рукой, путаясь под ногами пробегающих мимо ребят.

— ...Кажется, я в Новикову влюбился,— выдал мне Паша после нахмуренной паузы.

Я постарался его успокоить, не показал, что удивился:

— Это ты, Паш, вчера на рыбалке устал.

— Нет, Тимка, правда. К сожалению, правда. Я всю ночь не спал.

Я посмотрел на Новикову. Она стояла в кучке девчонок и слушала стрекотуху Дашку. По лицу Алены нельзя было догадаться, что вчера она носилась по улицам, по уши в слезах.

— Новикова!— позвал я.— Новикова!

— Зачем ты?— испугался Паша.— Не надо!

Алена оглянулась.

— Подойди!— позвал я.

Она пожала плечами и нехотя отошла от девчонок.

— Чего тебе?

— Искали тебя вчера, нет?

Алена свысока (хотя она ниже) поглядела на меня ледяными глазами:

— Так тебе все и скажи. Ха!— И ушла.

Паша, как Иванушка-дурачок, голову опечаленно опустил, а потом исподлобья стал смотреть в Аленину сторону.

Уже неделю так смотрит.

А она что? С ее-то ледяными глазищами? Как будто ничего не замечает. Дашка Киселева ее каждый урок локтем толкает (они сидят вместе): «Смотри, на тебя Курносик таращится».

Алена на Пашу не взглянет, нахмурится и Дашке что-то сердитое ответит.

Вечером моя сестра из Москвы возвращалась, мне надо было ее встретить. Она оттуда всегда груженная, как верблюд, приезжает.

Поезд из Москвы в одиннадцать вечера. Я пришел раньше, зашел в вокзал, сел на деревянную скамью с выгнутой спинкой, смотрю — прямо передо мной, на скамье напротив, Алена Новикова собственной персоной, «Юность» читает. Курточка модная, сапожки, нет, она модно одевается, как и мамаша ее.

А мы-то с Пашей думали, что дома у нее уже все в порядке. Ошиблись, значит. На вокзале читалку устроила. А может, тоже кого встречает?

Я на ее скамью пересел.

— Привет, Новикова. Ты кого встречаешь?

Новикова журнал на колени уронила, уставилась на меня изумленно, потом усмехнулась и говорит:

— Никого не встречаю. Тебя вот встретила.

И замок на губы повесила.

Ума большого не надо, чтобы догадаться: опять из дому ушла.

— Что, там опять целуются, да, Алена?

Я в первый раз в жизни ее «Аленой» назвал, покраснел весь. Она ответила:

— Иди ты.

Я немного отодвинулся. Пусть сама уходит, я поезд встречаю.

Тут к ней парень кавказской наружности подкатил и спрашивает:

— Дэвушка, можно вас на мынуточку?

Она и ему:

— Иди ты.

Он Новикову не знает, поэтому сразу обиделся:

— Пачему ты грубиш? Я тэбэ харашо гаварю.

Он отошел к квадратной колонне, оперся на нее и, скрестив руки на груди, стал смотреть на Алену горящим осуждающим взглядом.

Тут все повскакивали — поезд подходил. Я тоже поднялся, слышу, Новикова за спиной страницами громко зашелестела, а потом ее голос зашелестел:

— Тимка, можно я с тобой, а то этот тип ко мне привяжется.

Тот кавказец словно пригвожденный стоял и на Алену таращился. Встречать он никого не спешил.

Я Алене говорю: «Пошли», а сам о Паше подумал. Вот бы Алена к нему с такой просьбой обратилась. Он бы от счастья на седьмое небо улетел. Почему я друга с собой не взял? Знать бы!

Новикова нам с сестрой очень пригодилась. Валька пол-Москвы привезла. Алене сумку какую-то всучила и авоську с апельсинами, мне две сумки и еще сама коробку какую-то обеими руками обнимала.

— Интересно, ты что, знала, что я с товарищем приду?— сеструху спрашиваю.— Как бы мы вдвоем все это утянули?

— О товарище я понятия не имела,— хитро ответила Валька.— Думала, ты с родителями придешь. Перед сном им прогуляться полезно.

— Что, здесь апельсинов не бывает? Навезла!

— Но ведь сейчас нет? Не ворчи, Тимка, лучше спроси, как мне ездилось?

— Как?

— Чудненько! Такой костюмчик себе отхватила. И тебе кое-что привезла.

— Барахольщица.

— Просто женщина,— Валька снова внимательно на Алену

взглянула, а потом — одобрительно — на меня. Видно, «товарищ» ей понравился.

Дома мы попили чаю, а потом мама мне говорит:

— Тимур, проводи Аленушку домой. Двенадцать часов, у нее, поди, беспокоятся.

— А то Тимка не знает, что девушек провожать надо,— Валька высказалась. Она положила в полиэтиленовый пакет пять апельсинов и сунула Алене в руки:

— Домашних угостишь.

Алена хмыкнула, но пакет взяла.

— Куда ты сейчас?— спросил я ее на улице.— Куда тебя вести, горе луковое?

— Я сама тебя поведу,— сказала Алена и, вытащив один апельсин, передала пакет мне.— Это мне, а это тебе. Некого мне угощать, они и без апельсинов как в раю.

Она стала чистить апельсин и бросать кожурки прямо на тротуар.

— Зря ты на них так,— говорю.— Счастливы — это хорошо. Радоваться надо. Счастливые — добрые все.

— Ха!— сказала Алена.— Добрые! Да они меня не видят изза любви своей. Только и мечтают, как бы я школу скорее кончила и уехала.

— Может, тебе кажется.

— Ха! А то ты знаешь! Лишняя я, понял?— Алена на секунду остановилась и топнула ногой по асфальту.— Мать стыдится, что я уже такая... ну, взрослая. Рядом со мной она старая, а так — еще ничего, никто ей сорок лет не привинтит. Муж-то ее, Толик, моложе на два года.

— Будто мать тебя не любит...

— Любила бы — замуж бы не выскочила!— Алена сказала это, как отрезала.— Слушай...— она запнулась, прикусила губу.— А чего на меня в последнее время Климов пялится?

— Да влюбился в одну...

— Ты шутишь или смеешься, Тимка?— Алена расширила глаза.

— Какое шутишь. Ты его заколдовала, убить тебя мало.

— А я разве красивая?— Алена прищурилась и, придержав меня за руку, заглянула мне в лицо.

— У тебя глаза ледяные,— отвечаю уклончиво и отвожу от нее взгляд.

— Вот и хорошо, что ледяные. Иначе как бы я мазуриков отбивала? На вокзале-то подошел, помнишь?

— И часто к тебе пристают?

— Ну.

— Нечего по вокзалам бегать.

— Я сначала у девчонок сижу. У Даши, у Тани. А потом неудобно становится — поздно, ну и топаю на вокзал. А в двенадцать домой прихожу и в постель сразу, чтобы на них не глядеть.

— Что ж, тебя не спрашивают, где была?

— Как же не спрашивают,— скривилась Алена.— Мать ругается, а я как будто не слышу, как будто сплю.

Мы брели по коричневым (осенью всегда коричневого цвета больше всего) пустынным улицам. В парке постояли на мостике над прудом. В пруду, освещенном голубыми фонарями, маленькими байдарками плавали узкие ивовые листья. Пошел снег. Снежинки падали, сцепившись сразу по несколько, чтобы погибать на теплой земле было не так страшно. Они были объемные, как пушистые белые человечки... Потом снова мы брели по улицам под сентябрьским, очень красивым мохнатым снегом. Случалось, наши плечи касались и тогда я поскорее отстранялся от Алены, сразу вспоминая Пашу. Казалось, я его как-то предаю, гуляя ночью с Аленой.

— Жалко, что Климов маленький, а то бы я за него замуж вышла!— вдруг ляпнула Новикова.— Как моя мамочка.

Я чуть не упал.

— Ты же его не любишь!

— Пусть... У него мама добрая. А наша бы квартира целиком этим осталась... молодоженам...

Мы вышли на площадь Металлистов. Около ресторана «Москва» кучкой стояли парни с кассетником, из которого несся «хэви-металл».

Алена засмеялась:

— Металлическая музыка на площади Металлистов. Смешно. Давай повернем, боюсь я их компаний.

— Просто поздно уже,— сказал я, взглянув на часы, и мы повернули назад.

Алена сделала большой шаг, очутившись впереди меня, и повернувшись — глаза ее очутились близко-близко — как-то задорно сказала:

— А я с тобой могу всю ночь прогулять!

— Вот еще,— буркнул я и опять мне стало стыдно перед Пашей.

...Почему снег такой тихий? Тихо так, как будто ничего нет, а его вон как много. Посмотришь влево, вправо, вверх — всюду движутся лохматые снежины, густо и дружно. И на земле его уже столько, что она побелела. Все коричневое, грязное, изношенное переодели в белое, чистое, новое... И на душе было так хорошо, что я даже поежился. Ничего мне не хотелось говорить, хотелось молча брести и брести среди этих снежин, которые засыпали все белым светом. А может, мне было оттого хорошо, что я шел с Аленой, разрумянившейся, с ледяными глазами девчонкой?

А как же тогда Паша?

На крыльце Аленинового подъезда стояли мужчина и женщина. Только я увидел это, как Алена схватила меня за руку и втянула на крыльцо соседнего подъезда. У всех крылечек этого дома была одна стена, поддерживающая крышу. С другой стороны ее поддерживал железный столб. Мы спрятались за стеной.

— Это мои там стоят,— прошептала Новикова, презрительно приподняв верхнюю губку.— Не спится им, снегом любуются... Голубочки...

— Ты тоже любуешься,— ответил я и вдруг догадался: — Это же они тебя искали!

Словно в подтверждение моих слов раздался мужской голос:

— Пойду в милицию позвоню. А ты, Олечка, домой поднимайся. Иди, родная, все будет в порядке, вот увидишь...

Женщина ничего не отвечала, но по тому, как она молчала и по тому, каким нежным был уговаривающий ее мужской голос, я понял, что она плакала.

— Дура ты Новикова,— прошипел я и хотел спуститься с крыльца, чтобы уйти, но Алена вцепилась в мой рукав:

— Подожди, Тимка... боюсь я...

Но тут же она решительно оттолкнулась от моей руки и с перекосившимся лицом шагнула с крылечка. Ее фигурка в голубой курточке пересекла круг фонаря, в котором бушевал беззвучный снег.

Я услышал, как мама Новиковой, увидев дочь, заплакала громко, и не посмел тронуться с места. Я стоял и смотрел на снег.

ТИХАЯ ЖИЗНЬ ОТЛИЧНИЦЫ ЖЕНИ БЕЛЫХ

Женя спускалась из читального зала по широкой лестнице, устланной потертой ковровой дорожкой. Только что она прочитала «Дикую собаку Динго» Фраермана и с грустью думала, что вот уже учится в восьмом классе, а у нее нет ни Коли, ни Фильки.

На контроле Женю неожиданно остановили.

— Девушка, что это у вас?— спросила контролерша злобным, подходящим к ее внешности, голосом.

Женя не любила эту контролершу: она старая, с кривым ртом, но не в этом, конечно, дело. Контролерша была всегда мрачная, поздороваешься с ней, она не ответит, ну, буркнет что-то, если у нее хорошее настроение.

— Где?— спросила Женя.

— А вот, снизу.

Женя перевернула стопку школьных тетрадей — она брала их в надежде сделать уроки,— и краска залила ее лицо. Под тетрадями оказалась книжечка стихов в бумажном переплете.

— Ой, извините, это с выставки новинок. Я посмотрела и забыла на место положить.

Женя хотела бежать обратно и положить книжку на место, но контролерша не пустила.

Она стала еще неприступнее. Лицо ее прямо окаменело. Взяла эту злополучную книжку, Женин контрольный лист, сказала:

— Пойдемте со мной.— И стала быстро подниматься по лестнице, слишком быстро для своего возраста и комплекции.

Опустив голову, Женя поплелась следом.

— Вот, с книгой задержала,— сурово сказала контролерша библиотекарям, выдававшим книги за деревянным полированным барьером.— Вот, Клавдия Ивановна, как вам это нравится?

Сквозь зубы поставив этот вопрос, контролерша удалилась на свой ответственный пост и, пока шла до лестницы, все злобно оглядывались на Женю. Библиотекари — Клавдия Ивановна, видно, старшая здесь, и две другие, помоложе, бросили читателей и стали рассматривать книжечку, которую контролерша уважительно назвала «книгой», придав ей больше авторитета, а Жене — больше вины.

— Честное слово, я нечаянно,— заговорила Женя, с отчаянием глядя на Клавдию Ивановну, а затем переводя взгляды на других.— Она у меня вместе с тетрадями взялась!

Женя не знала, как их убеждать. Было видно — ей не верят, лица такие равнодушные, на них даже возмущения нет.

Клавдия Ивановна, женщина лет сорока, с выщипанными бровками и накрашенным ртом, спокойно-насмешливо посмотрела на Женю.

— У меня в голове не укладывается, как это можно нечаянно взять книгу,— чуть улыбаясь ярко-красным ртом, сказала она.— У нас их тащат и тащат, а вас поймали с поличным.

Она попросила у Жени читательский билет, переписала с него номер, фамилию, школу и ровным голосом подвела черту:

— Идите. Больше мы вас обслуживать не будем.

Это было как гром среди ясного неба.

Женя закусила губу и пошла к выходу, затылком чувствуя на себе взгляды читателей, ставших свидетелями ее позора.

Лишиться библиотеки — для Жени трагедия. В их маленьком городе Жене больше некуда было пойти. Одноклассницам с ней скучно: Женя неразговорчива. Поэтому у нее нет подруг. В секции и кружки ее не тянуло — да и вышла уж из этого возраста. Ходить на дискотеки?.. Нет уж, увольте, она была один раз и больше не хочет. Чуть не оглохла от этой рок-музыки. Играли бы потише, может и понравилось бы, а так... Женя подумала тогда, что если ребята и получают на дискотеках удовольствие, так это от физических движений. А Жене физкультура вообще не нравилась. Танцы современные — та же физкультура, прыжки с фантазией, вот и все.

А Жене нужна была красота. Или хорошая литература. Поэтому она любила библиотеку, любила тихий читальный зал, где, кроме

столов и стульев, стояли у стен старинные глубокие кресла в плотных чехлах, где можно было, удобно устроившись, читать интересную книгу, а случалось и вздремнуть Жене в таком кресле, сладко так вздремнуть и читать, читать...

А устав от чтения, можно было подняться на второй этаж, в фонотеку, где за светло-желтым, с разводами, столом, сидела вечная добрая старушка с седенькими волосиками и очками с цепочками вместо дужек. Эти цепочки у нее не от моды, а от дореволюционных, наверно, времен, когда все носили пенсне. Женя выбирала пластинку и, отгородившись от соседей тонкой плексигласовой перегородкой, через наушники слушала музыку. Особенно часто брала «Аве Марию» Шуберта, которой у нее не было дома. Нежность этой мелодии заставляла Женю любить все окружающее — соседей по небольшому зальцу с пальмой в углу, старушку-божий одуванчик, мирно копающуюся в пластинках или подклеивающей конверты от них; деревья в парке, куда выходили окна — корявые, с черными стволами, липы; отсутствующих здесь маму, одноклассников и даже классную руководительницу, сухую Таисию Модестовну, которую никто не любил. И еще, слушая эту музыку, Женя вспоминала папу, который жил теперь неведомой жизнью в другом городе, с другой, какой-то неведомой женщиной и другими, почему-то более родными, чем Женя, детьми. Только мысли о папе Женя старалась поскорее прогнать, потому что на глаза наворачивались слезы. О папе Женя разрешала себе думать только в постели, только в темноте и тишине, когда можно было вволюшку поплакать, не боясь, что тебя засекут и пожалеют: никто твоих слез не увидит и никто не услышит всхлипов — мама спала в другой комнате за закрытой дверью.

...Воровка! — эта мысль вспыхнула в Жене посреди улицы. Да, об этом не говорили, но думали библиотекари и контролерша. Как же они не понимают, что это могло быть просто случайностью? Ведь и книжка-то ничего ценного не представляла, стихи какого-то среднего поэта, Женя уже и фамилию его забыла. Она всегда следила за новинками в поэзии, и, если стихи попадались хорошие, записывала в специальную тетрадь фамилию поэта и название книги и потом обязательно прочитывала ее от корки до корки.

...Воровка.

Глупо, нелепо, стыдно!

Как им-то не стыдно?

Женя не заметила, как домчалась до дома. Как назло, мамы не было, она только утром уехала в командировку. Мама работала в газете, в отделе сельхозжизни, и с тех пор, как Жене исполнилось тринадцать лет, часто ездила по селам. А Женя в эти дни хозяйничала сама и за два года к этому уже привыкла. И одной ей жилось совсем даже неплохо — с книгами и музыкой.

Телевизор в это время Женя почти не включала.

Как сейчас нужна была мама!

Кое-как Женя сделала уроки. Физику вообще не стала учить.

Это было невероятно для нее: она обычно все от точки до точки прорабатывала. Но сейчас в голову ничего не шло из-за этой дурацкой истории.

Библиотечные работники действовали оперативно.

Уже на следующий день к комсоргу восьмого «а» подошла классная руководительница Таисия Модестовна.

— Наташа, после уроков надо оставить комсомольскую группу, одну жалобу обсудить.

— Какую жалобу? — Наташа удивленно вскинула черные цыганские глаза.

— На Белых. Пока не говори никому, я сама объясню.

— Ладно.

Целый день Наташа нет-нет да и взглядывала на Женю Белых. Отличница, тихоня — что могла она натворить? Недаром говорят: в тихом омуте,— вертелось в Наташиной голове. В начале урока геометрии ее удивленный взгляд перехватила Женя, и ее глаза спросили: «В чем дело?» Наташа отрицательно замотала головой и старалась больше на Женю не смотреть. Удавалось это с трудом.

К доске вызвали Володю Потапова.

— У тебя двойка не исправлена,— сказала Нина Степановна.— Исправляй. Докажи домашнюю теорему.

Володя вышел к доске, потоптался, начертил треугольник, обозначил углы и затих.

— Ну-ну,— поторопила учительница.

Володя молчал и крутил прядь своей длинной челки, залезающей на глаза.

— Не знаешь.

— Не знаю,— мирно согласился Володя.

— Садись, Потапов,— голос Нины Степановны посуровел.— Еще одна двойка.

Если бы Нина Степановна знала, что Потапов снова не выучит, то и не спросила бы его. Понимали бы ученики, как неприятно учителю выставлять двойки, да еще подряд...

Проходя между рядами на свое место, Володя улыбнулся Жене. Почему-то он всегда ей улыбался. Между передними зубами у него была щербинка, как у актера Караченцева. Женя на его улыбку не ответила. Ей и жалко было Потапова за его неспособность к математике, и в то же время она ее раздражала. Ну как это — мальчишка и не разбирается в точных науках?

— Женя,— Нина Степановна посмотрела на нее.— Надо снова Потапову помочь. Что-то он опять сдал. Прямо перед экзаменами, Володя, глупая твоя голова!

Нина Степановна бросила на Потапова укоризненный взгляд, и он согласно сгримасничал, развел руками, мол, какая есть.

Честно говоря, Жене не хотелось заниматься с Володей. Она делала это второй год. В прошлом году, в седьмом классе, после

какой-то там Володиной двойки; когда математичка стала его укорять, мол, так хорошо учился и вдруг... Володя взял да и бахнул на весь класс:

— А пусть со мной Белых позанимается, мы сидим рядом!

Нина Степановна сразу посмотрела на Женю:

— Как, согласна?

Пришлось согласиться.

Женя недовольно оглянулась на Потапова. Заниматься — что он, маленький? Володя и правда сидел рядом — сразу за ней. Он поймал ее удивленный взгляд и виновато улыбнулся.

Комсомольская группа — значит, весь восьмой «а». Нельзя сказать, что ребята остались с удовольствием — у всех были свои планы.

Таисия Модестовна зашла в класс, светясь таинственностью. Сразу же посмотрела на Женю. Такой это был нехороший торжествующий взгляд, что на душе Жени сразу помутнело.

Ребята шумели. На уроках географии, которые вела Таисия Модестовна, всегда было шумновато-скучновато. А тут еще после уроков, когда происходит неизвестно что — то ли классный час, то ли комсомольское собрание. Наташа сказала: будет собрание, но почему у стола Таисия?

— Тихо!— Классная хлопнула по учительскому столу ладонью, но тишина не наступила.

— Сегодня... нам... предстоит...— стала почти кричать учительница,— разобрать... поведение...— стало тише,— поведение,— повторила Таисия Модестовна выручившее ее слово,— Евгении Белых.

Вот тут-то и наступила настоящая тишина. Тишина удивления.

— Белых, выйди к доске.

Женя не двинулась с места. Она перебрала в памяти события последних дней, и ничего плохого не могла вспомнить. Мысль о вчерашней книжке мелькнула у нее в голове, но тут же пропала: это было слишком нелепо. Но что же тогда? Нет, все-таки книжка!

— Белых, прошу к доске.

— Не ходи,— прошептали сзади. Володя Потапов.

Женя вышла. Таисия все равно своего добьется. Неловко было стоять перед одноклассниками, взгляды которых — удивленные, насмешливые, недоверчивые — жгли Женю.

Только Володя смотрел на нее из-под челки сочувственно, грустно.

Скорей бы классная сказала в чем дело!

Таисия Модестовна выдержала мхатовскую паузу, наслаждаясь редкостной тишиной, и, когда молчать стало уже неприлично, сказала:

— Сегодня утром,— она стала неотрывно смотреть на Женю,— из юношеской библиотеки имени Герцена позвонили директору школы,— снова пауза и многозначительный обзор всех восьмиклассни-

ков.— Сотрудники библиотеки,— снова упор на Женю,— просят разобрать на комсомольском собрании поведение читательницы Белых.

Женя вздрогнула, услышав свою фамилию.

Что они делают, ведь это слу-чай-ность!

Ей захотелось заплакать, но она сдержалась.

— ...Белых задержали на контроле,— продолжала Таисия Модестовна торжественным голосом, каким рассказывают о всяких достижениях,— когда она хотела вынести, скажем прямо, хотела украсть — книгу.

УКРАСТЬ! В Женю как будто гвоздями вбили это слово.

Мамочка, если бы ты знала, что делают с твоей дочкой!

Женя не могла смотреть в класс. Глядела в окно. Там гуляла уже свободная малышня. Какой-то мальчишка в зеленой шапочке сгребал оставшийся под скамейкой грязный снег, делал из него лепешки и обстреливал своих ровесниц.

Так захотелось пробежать мимо этого озорника, очутиться в своей комнате и выреветься!

В классе было так тихо, как будто в нем никого не было.

Женька Белых была тихая отличница. Поведением больше на троечницу похожа — молчаливая, слишком скромная, даже робкая. Не общественница никакая, на собраниях не выступает. Классная руководительница ее не любит, говорит, что в классе от нее никакого толку. А спросят ее на уроках — на любом — она всегда все знает, ну и контрольные у нее всегда о'кей! А так... кто ее знает, может, это и правда, что сказала географичка.

— Я доложила вам факт, теперь слово за вами,— торжественно отчеканила Таисия.— Комсорг, веди собрание!

Таисия Модестовна отправилась на Женино место с чувством исполненного долга. По пути следования в глаза ей бросился Потапов со своей челкой, и учительница на ходу заметила:

— Потапов, придется мне тебя в парикмахерскую сводить. Сколько можно говорить, чтобы ты постригся?

Володя остался безучастным к вопросу. Он даже не посмотрел на учительницу. А когда Таисия Модестовна села перед ним и загородила Женю, Володя подвинулся на свободное место у окна.

К учительскому столу вышла комсорг Наташа — кудрявая черноглазая девочка. Женю ей было жалко. Они не были подругами, но Наташа уважала всех, кто хорошо учился. Не глядя ни на кого в отдельности, Наташа без энтузиазма спросила:

— Кто хочет выступить?

— В тихом омуте черти водятся,— негромко сказала Дина Тихомирова.

Это была общая мысль класса.

— Ты встань, Тихомирова, и громко скажи!— подала голос классная руководительница.— Не бойся.

— Я и не боюсь,— Дина встала.— Белых поступила некрасиво, это всем ясно.

Остальные молчали.

— А какая книга, Белых?— спросил Витька Жаков, самый «акселератный» из акселератов восьмого «а»— высокий, широкоплечий, у него уже хорошо были заметны усики.

Женя даже не повернулась в его сторону.

— Книга какая, Белых?— баском повторил Жаков.

— Интересный ты человек, Жаков,— Таисия Модестовна встала и, засунув руки в карманы жакета, поспешила на помощь Наташе.— Причем здесь — какая книга? И вообще, хочу заметить, собрание проходит крайне неактивно. Вы же сами себя задерживаете!

— Нет, я почему спрашиваю, какую книгу Белых взяла,— Жаков поднялся из-за стола и, не убирая с него рук с длинными пальцами, отчего спина его стала горбатой, ершисто сказал:— Ну и что, что она взяла? Книга — это не кража! Нам духовно расти надо? Надо. А как же без книг? В магазине их нет.

В классе поднялся шум. Девчонки замахали на Витю руками и закричали вразнобой:

— Ну ска-азал!

— Ничего себе — не кража!

— Без книг не останешься! Из библиотеки бери, но не кради, понял?

Женя стояла у доски, повернув голову к окну. Казалось, ей все равно, о чем говорят одноклассники.

— Тихо!— Таисия Модестовна снова хлопнула по столу. Это был ее любимый прием.— Высказывайтесь по порядку.

По порядку — какой спор? Ребята замолчали, и в классе снова повисла унылая тишина.

— Не верится мне, чтоб она украла,— пробурчал с места серьезный Митя Муравьев, которого за большие очки и большие знания все звали «профессором».

— Ну а ты сама, Белых, что скажешь?— Таисия Модестовна оставила без внимания недовольство Мити. Она нацелила на Женю цепкие маленькие глазки, и весь ее вид, с засунутыми в жакет ладонями и наклоненной вперед головой, выражал готовность борьбы с такими тихонькими, как Женя, воришками.

После слов, пробуркнутых профессором, в глазах Жени стали копиться слезы, словно внутри ее забил родничок. В то время, как Модестовна задавала свой вопрос, Женя слышала Митино «не верится, чтоб украла...» не верится... не верится...

Странно, слезы накапливались от этих добрых профессорских слов, а не от недоверчивых взглядов одноклассников и от дурацкого вопроса Таисии, смысл которого все же дошел до Жени. Не сразу, но дошел. Она хотела объяснить, что книга взялась нечаянно, но глаза превратились в два блестящих озерка, губы задергались и уже ей не подчинялись. Женя подлетела к своему столу, схватила сумку и выбежала из класса.

— Белых! Сейчас же вернись!— донесся вскрик Таисии.

До темноты бродила Женя по улицам. Красиво заканчивался весенний день — город накрыла толстая темно-синяя накидка с лам-

почками звезд и прорезью для заката, в эту щель закат виднелся широкой оранжевой полосой. Зажглись фонари, освещая ноздреватые умирающие сугробы и застывающие под тончайшей ледяной чеканкой апрельские лужи. Воздух был весенний, настоенный на золотом апрельском дне и тающем снеге.

Женя любила весну, ее свежий воздух, она и раньше могла бродить по улицам целыми днями, и эти прогулки делали ее счастливыми, но сегодня... Сегодня, когда Женя испытала унижение в классе, испытала стыд и неловкость за тех людей, которые не умели верить другим, и ей было грустно и противно на душе.

Ну как же можно не верить?

Женя не понимала этого еще и потому, что сама никогда не врала. После одного случая в ее жизни она лучше умрет, чем скажет неправду.

Ей было тогда пять лет. Родители куда-то ушли (папа еще жил с ними), а Женю оставили одну. И она разбила окно. Полезла на подоконник и разбила локтем. А до этого у нее в гостях был соседский мальчик Вадик — они вместе играли. И вот когда родители вернулись, Женя сказала, что окно разбил Вадик. И с тех пор она больше не врет. Она слышала, как плакал и кричал за стеной Вадик: «Я не разбивал, я не разбивал!», в его голосе было настоящее отчаяние, а ему не верили.

Разве можно не верить? Да вы в глаза человеку посмотрите и сразу поймете, врет он или нет. Ведь и тогда, в пять лет, Женя врала и глаза прятала, и ей верили, а Вадик... Он не врал, а ему попало.

До сих пор Женя чувствует вину перед Вадиком, хотя не видит его сто лет — вскоре после того случая соседи переехали в другой город.

В их подъезде горел свет. Около дверей квартиры на ступеньках лестницы сидел Володя Потапов. Женя вспомнила свое унижение, вспыхнула и прошла мимо него, как мимо незнакомого. Чего он приплелся? Ах да! Нина Степановна просила с ним позаниматься! Нашел же время!

— Я к тебе,— улыбаясь щербатой улыбкой, сказал Володя в то время, как Женя ключом открывала дверь. Он поднялся.

— Зачем пришел?— негромко, но зло спросила Женя.— Заниматься? Я сегодня не могу заниматься! И вообще я не хочу с тобой заниматься. Понял?

— Понял,— согласился Володя.— Только не кричи, пожалуйста.

Он говорил спокойно, и Женя устыдилась своей злости. Она захлопнула дверь перед его носом. Нечего. Она там перед ними слезки выпустила. А он... заниматься...

Женя разделась и прошла в свою комнату. Включила проигрыватель. На его диске уже несколько дней стояла одна и та же плас-

тника. Дебюсси. Несколько его симфонических пьес, из которых Жене больше всего нравилась одна — «Облака». Когда Женя в первый раз услышала эту музыку, у нее по спине забегали мурашки. Ей почудилось ночное море, почему-то именно ночное (Женя уже потом узнала, что «Облака» — это ноктюрн). Над морем летели тонкие облака, которые легко разрывал ветер; с той стороны облака освещались луной и, когда через дырявую облачную ткань выглядывало печальное, с улыбкой Джоконды, лицо Луны, все море серебрилось до дна...

Музыка немного успокоила Женю. Она ее умиротворила. В конце концов, когда в мире существуют книги, музыка, а где-то шумит море, то, что случилось вчера и сегодня, не так уж страшно. Только стыдно очень. Женя сидела на тахте, опершись о небольшой настенный коврик, подобрав под себя ноги, и стоило ей вспомнить себя посреди класса с нацеленными на неё глазками Таисии Модестовны и жгучими от любопытства глазами ребят, она закрывала лицо ладонями и шептала, покачиваясь из стороны в сторону, стараясь заглушить стыд: «И пусть, и пусть, и пусть...»

Но стоп! Память выхватила лицо, не похожее на другие. Оно не удивлялось и не улыбалось в тот момент, а глаза на нем были грустными и часто опускались, словно Володе (это было его лицо) было самому стыдно за что-то перед Женей.

Он что, ей сочувствовал?

А теперь сидит на холодной ступеньке в голом подъезде и тупеет от нечего делать? Да нет, наверно, ушел.

Женя выглянула в коридор.

Володя так и сидел, как она представляла и читал мятую-перемятую газету. Где-то подобрал.

— Потапыч, иди сюда!— позвала Женя.

Одноклассники называли Володю Потапычем.

Володя поднялся, улыбнулся щербатой улыбкой, сделал шаг к дверям.

— Заходи.

Володя замешкался, поглядел на часы, было, конечно, поздно.

— Заходи, заходи, у меня нет никого.

Женя взяла его за руку и потянула в квартиру.

— Садись,— сказала она ему в своей комнате.— И слушай.

Володя присел на краешек тахты, как был — в куртке, в толстых, «надутых» сапогах — он хотел снять их в прихожей, но Женя не разрешила.

Женя снова поставила «Облака», и комнату опять наполнила как бы мерцающая лунным светом музыка.

Напротив Володи на стене висела картина Чюрлёниса, удачная репродукция его «Сонаты моря». Волна, вернее, один ее завиток, на самом гребне круто загибалась книзу и дробилась на многочисленные сверкающие капли. Движение было передано настолько точно, что казалось, волна сейчас выплеснется в комнату. Володя, не отрываясь, смотрел на эту картину все время, как звучала пьеса.

— Понравилось? — спросила Женя, когда в комнате наступила тишина.

Володя молча, все еще не отрывая взгляда от картины, кивнул.

Женя думала, что он тут же встанет и уйдет, ведь она позвала его только послушать, но Володя уходить не собирался. Он словно чего-то ждал.

— Потапыч, ты извини, но я сейчас не могу с тобой заниматься. Уже поздно и вообще не могу. Ничего сейчас не могу.

— Жень... Ну не обращай ты внимания... Эта Модестовна, ну ее. И потом...— Володя замолчал ненадолго и вдруг с отчаянной решимостью, не сомневаясь, что его сейчас же выгонят, выпалил: — Ну скажи, как ты могла взять эту дурацкую книгу?

Вот зачем он пришел! Вот зачем! Не заниматься!

— Книги я не брала,— мрачно сказала Женя.— Вернее...— Женя сбивчиво все рассказала.

Володя просиял.

— Чего же ты в классе молчала, кулема?

Это его «кулема» больше улыбки показало, как он обрадовался.

— Говорили же: в тихом омуте,— сказала Женя.

— Да кто говорил-то? Тихомирова?

— А думали все.

— Надо было объяснить, Женя! Надо было!

— В библиотеке я объясняла. Не верили.

— Но в классе-то тебя знают!

— С чего ты взял, Потапыч, что меня знают? — Женя посмотрела на Володю грустно, и этот взгляд стер его улыбку.— В том-то и дело, что не знают.

— А профессор? Он-то не поверил Таисье!

Женя улыбнулась, вспомнив круглолицее Митино лицо с недовольным на нем выражением.

— У Профессора своя голова на плечах. Он независимых взглядов.

— И я не поверил. Сразу подумал: недоразумение. Мне Таисью хотелось в окошко выкинуть.

Женя засмеялась. От Володиных слов становилось легче. Теперь она была благодарна за то, что он пришел к ней.

— Ты ко мне, Вов, вообще хорошо относишься.

— А знаешь, почему? — Володя подергал себя за челку, прищурился, почему-то покраснел. Куртку он расстегнул, из нее выглядывал темно-синий, в широкую вязку свитер.

— Ну, наверно, потому что я с тобой математикой занимаюсь?

Володя засмеялся.

— Кулема ты! Учишься хорошо, а видишь плохо.

То, что Володя второй раз назвал ее этим смешным прозвищем, не только не обидело Женю, наоборот, приблизило ее к нему. До сегодняшнего дня Потапыч был для нее лишь одноклассником, временами подшефным. Сегодня, пожалуй, он пришел к ней как друг.

друг, которого у Жени никогда не было. И он так обрадовался правде. И сразу поверил.

Завтра он, конечно же, расскажет в классе как было дело. Расскажет сам, потому что Женя не сможет завтра пойти в школу. После собрания ей слишком больно. И после того, как он все расскажет, наверное, все и уладится.

Прогуливать школу Жене раньше не приходилось. С утра ее сердце виновато ныло. Ровно в восемь пятнадцать, когда в школе начались уроки, Женя села за стол, положила с краю учебники по тем предметам, которые были сегодня в классе. Она учила новую тему и подкрепляла ее задачами. На каждый урок уходило по полчаса. И переменок у нее не было, так что до конца учебного дня осталось время, чтоб почитать. Женя достала со стеллажа в маминой комнате томик Лермонтова и забралась с ногами на тахту. Лермонтова Женя любила под настроение, когда ей тоже хотелось забыться и заснуть. Как сегодня.

И скучно и грустно
И некому руку подать
В минуты душевной невзгоды...

Было двадцатое апреля. По двадцатым числам Женя всегда платила за квартиру, это была ее обязанность. В этот раз мама тоже оставила деньги. Конечно, можно было заплатить и завтра, но всегда, когда Женя не выполняла того, что нужно было сделать сегодня, на сердце ложился неприятный грузик. Лучше сделать задуманное в тот же день. Женя оделась и вышла. День был хмурый, но по-весеннему звонкий. Громко бежали ручьи, похожие на желтые девчоночьи косы. Жене захотелось побродить в парке, но она переборола желание. Иначе получалось бы слишком буквально: она ПРОГУЛИВАЛА.

Выяснив по своим часикам, что уроки в школе уже кончились, Женя заторопилась домой. Сегодня ей очень хотелось увидеть Володю. Может, он уже пришел? Почему-то она не сомневалась, что он придет. Проходя мимо школы, трехэтажное здание которой виднелось в отдалении, Женя повернула голову в противоположную сторону, словно школа была перед ней виновата.

Володя стоял в подъезде, притулившись к дверям квартиры. Женя обрадовалась: «Пришел!» и, устыдившись, что она радуется за себя (сейчас узнает, поверили в классе или нет), тут же подумала: «Надо с Потапычем обязательно позаниматься. Выпускной класс, а у него двойки».

— Здравствуй,— Володя посмотрел на нее без улыбки и сразу же отвел глаза в сторону.

Женя почувствовала, что в школе ничего хорошего для нее не произошло. Наверное, не поверили одноклассники, что книга — это случайность.

— Проходи, позанимаемся,— она пропустила Володю вперед.

Сердце уже ныло тоскливо. Володя стал молча раздеваться. Снял мягко шуршащую куртку, сапоги. Если судить по его настроению, сегодня он ни за что не скажет дурашливое «кулема».

— Что, не поверили?— спросила Женя, кисло усмехнувшись, когда Володя прошел в комнату и сел на вчерашнее место.

— Ну почему же?— Володя взглянул на Женю, но как-то рикошетом взглянул.— Какая волна,— он кивнул на «Сонату моря».— А что у тебя вчера играло? Такое... огромное?

— Дебюсси, «Облака».

— Вот на это похоже,— Володя снова кивнул на картину Чюрлёниса.

— Похоже. Только море представляется мне ночным, и луна в облаках.

— Умная ты, Женька,— сказал Володя и, в надежде развеселить Женю и развеселиться самому, добавил:— Как утка.

Женя криво усмехнулась.

— Что ж ты о классе не рассказываешь? Рассказывай, я не заплáчу.

— А чего рассказывать? Ну, Профессора ты знаешь — он сразу поверил. Наташка тоже, еще кто-то... А ну их всех, Жень, привязались с этими чертями в омутах... Модестовна всех настраивает, талдычит, что зря в школу звонить не будут. Плевай.

— Ладно,— Женя тряхнула головой.— Не верят, и пусть. Я же тебе говорила.

И плакать ей, как вчера, не захотелось. Просто пустота какая-то образовалась в душе. Противный такой вакуум.

Что ей теперь делать?

В школу нельзя. Не будет она ходить туда, где ее считают воровкой.

— Давай, Потапыч, позанимаемся.

— Женя...— Володя опять срикошетил взглядом по ее лицу и покраснел.— Скажи, а тебе очень не хочется со мной заниматься? Я ведь вижу.

— Честно сказать?— Женя спросила и зло усмехнулась своему вопросу. Она же не врет, при чем здесь «честно?»

Володя легонько кивнул. Он был очень смущенным.

— ...Я вообще-то не понимаю, как мальчишка не может сам разобраться в математике. Извини — не понимаю.

Володя снова кивнул, на этот раз медленно, словно не зная, соглашаться ему с Женей или нет.

— Ты объясни мне на задачке.— Он положил на колени дипломат, достал учебник.

Женя села рядом с Володей. Дипломат превратился в стол. Женя принялась объяснять и ей сразу пришлось удивиться: Володя понимал все с полуслова. Только ему Женя хотела что-нибудь сказать, как он тут же ловил ее мысль, отбирал карандаш и писал правильное действие. Он вовсе не был похож на замирающего у доски

балбеса, каким иногда выглядел в школе. Да ведь и раньше Женя с ним занималась, и голова его не очень-то сразу «варила». Интересно.

Вторую и третью задачи, из совершенно разных тем, Володя решил полностью самостоятельно, сначала комментируя свои действия, затем — молча.

Женя удивленно смотрела, как он быстро пишет.

— Вов, ты что, притворялся?

Карандаш в руке Володи с разгону споткнулся. Он перестал писать и стал смущенно дергать челку.

— Потапыч, я спрашиваю: ты притворялся?

— Вот в чем моя беда, Женя,— Володя отвернулся от нее, чтобы она не видела его лица.— Я всегда все понимал. Я нарочно получал двойки.

— Зачем?— изумилась Женя.

Володя пожал плечами.

— Глупо...

И вдруг до Жени стало медленно доходить. Она вспомнила: всегда после двойки, Володя смотрел на Женю, словно обращал ее внимание: у меня двойка, видишь? На первую двойку Женя не реагировала. Володя получал еще одну. Даже такое случалось: он поднимал руку, Нина Степановна вызывала его к доске, обрадованная тем, что он хочет исправить плохую отметку, а Володя вдруг... заваливал задачу. И снова двойка.

После двух или трех Володиных «пар» у Жени просыпалась совесть. На каком-нибудь уроке она писала ему записку: «Сегодня вечером будь дома — позанимаемся». Не оборачиваясь, она клала записку перед Володиным носом и не видела, как, прочитав ее, Володя радостно улыбался.

А часто Нина Степановна напоминала ей: «Женя, позанимайся с Володей». И Женя занималась. К концу четверти Володины отметки подскакивали аж до «пятерок». Нина Степановна взглядом благодарила Женю, а она, оказывается, была ни при чем: Потапов сам все прекрасно понимал. Просто он своими двойками добивался того, чтобы... чтобы побыть с Женей, так, что ли? Значит, он что, в нее влюблен?

— Потапыч, я что, тебе нравлюсь?— страшно было спрашивать это, а еще страшнее ждать ответа.

— Да,— сказал Володя.

Вот что. Вот что. Интересно.

Раскрылась тайна, и между ними возникла неловкость. Володя рассеянно чертил на листке с решенными задачами беспорядочные круги, начиная от точки и разгоняя ее до эллипсоидных окружностей, налезающих на записи. Они молчали. Женя не знала что сказать. Она вспомнила, как Володя встречал ее по вторникам у служебного входа почтамта, где работал их класс на УПК (Женя по вторникам, Володя — по четвергам), и они вместе разносили почту. Однажды Кира Булышева спросила:

— Потапыч, ты почему только Белых помогаешь?

Володя ответил:

— Не люблю оставаться в должниках. Ты же, Булышева, мне по математике не помогаешь.

Этот ответ удовлетворил всех любопытных, не только Булышеву. И Женю тоже.

Еще Женя вспомнила, как иногда на уроках Володя слегка щелкал ее в плечо и, когда она полуоборачивалась, протягивал ей конфету. И как на школьных вечерах он ни с кем не танцевал, может, потому что Женя не танцевала? Однажды в седьмом классе он пригласил ее на танец, а она сказала, что не любит прыгать, и он сразу отстал.

— Потапыч, ты не получай больше двоек,— наконец тихо сказала Женя.— Это ведь стыдно.

— Сначала стыдно, а потом зато появляешься ты. Поэтому я терплю.

Он сидел рядом с ней, лохматый, узкоплечий, ему было тоже неловко от того, что его тайна раскрылась, и он был какой-то жалкий. И Жене вдруг захотелось погладить его по голове, как будто она была его учительница, а он — ее первоклассник. Женя набралась храбрости и провела рукой по длинным Володиным волосам, ощутив их мягкость. Она почувствовала, как Володя замер под ее рукой, а когда она убрала ее, медленно повернул к ней смущенное лицо. И Женя увидела то, что никогда раньше не замечала: глаза Володи были серые, в зеленоватую крапинку. Они были очень добрые.

И Жене вдруг показалось, что Володя — это Филька из «Дикой собаки Динго». А она — Таня из этой книжки. И что Володино чувство к ней, Жене, так же безнадежно, как у Фильки к Тане. В Жене поднялся прилив нежности к этому мальчишке. Как будто она снова слушала «Аве Марию».

— Вов, это ведь у тебя школьное, это пройдет,— ей захотелось его успокоить, а вышло наоборот.

Володя вздрогнул, как будто его ударили, и отодвинулся от Жени.

— Школьное?— он удивленно посмотрел на нее крапчатыми глазами.— Это, что, бывает школьное и нешкольное? Как форма?

Женя смутилась под его изумленным и укоряющим взглядом.

— Ну извини меня, Вов. Мне тяжело сейчас. Спасибо тебе.

Собрание и библиотека отодвинулись на второй план после Володиного признания. Жене стало легче — все-таки хоть кому-то нравишься.

— Не обращай ни на кого внимания, Женя, и приходи завтра в школу,— Володя посмотрел на Женю с надеждой.— Мне без тебя там, знаешь как плохо?

Женя вспомнила про школу, и собрание серой массой вновь вылезло вперед. Ее опять загрызла тоска.

— Нет, Потапыч, не приду. Ты оставь уроки.

Володя подал ей дневник.

— Завтра на математике подними руку,— сказала Женя, переписывая с Володиного дневника домашнее задание.— Без пятерки не приходи.

— Будь сделано,— Володя улыбнулся, показав щербинку.— Больше не буду придуряться. Так к тебе буду ходить. Можно?

— Можно.

— А хочешь, две пятерки принесу? По алгебре и геометрии?

— Очень хочу.

— Будь сделано.

Тоска все росла и росла в Женином сердце. Что делать, что делать? Могла бы посоветовать мама, но она приедет только через неделю. Через неделю ее наверняка выгонят из школы за прогулы.

«Филька, ты мой Филька»,— подумала Женя про Володю и встала, чтобы опять включить Дебюсси, чтобы избавиться от тоски, которой она раньше не знала.

Комнату заполнило ночное море, оно выплеснулось со стены, на время потопив школьную беду.

Школьную? Разве беда бывает школьная и нешкольная? Как форма?

НЕ ПУСКАЙТЕ РЫЖУЮ НА ОЗЕРО

Светка Сергеева была рыжая. Волосы у нее были грубые, толстые, словно яркая медная проволока. Из этой проволоки заплеталась тяжелая коса. Мне она напоминала трос, которым удерживают на берегу большие корабли.

Лицо у Светки бледное, в крупных веснушках, тоже бледных, наскакивающих одна на другую. Глаза зеленые, блестящие, как лягушата. И губы бледные, большие, как два дождевых червяка. Извините за сравнение.

Сидела Светка как раз посреди класса, во второй колонке. И взгляды наши нет-нет да и притягивались к этому яркому пятну.

Светку мы не любили. Именно за то, что она была рыжая. Ясное дело, Рыжухой дразнили. И еще не любили за то, что у нее был голос ужасно пронзительный. Цвет Светкиных волос и ее голос сливались в одно понятие: Ры-жа-я.

Выйдет она к доске отвечать, а голос высокий-высокий. Некоторые девчонки демонстративно уши затыкали. Забыл сказать, почему-то особенно не любили Светку девчонки. Они до нее даже дотронуться боялись. Если на физкультуре кому-нибудь из них выпадало делать упражнения в одной паре с Рыжухой — все отказывались. А как физрук прикрикнет, так делают, но с такой брезгливой миной на

лице, словно Светка прокаженная. Маринке Быковой и окрик учителя не помогал: наотрез отказывалась с Сергеевой упражняться. Физрук Быковой двойки лепил.

Светка на девчонок не обижалась, привыкла, наверно.

Слышал я, что жила Светка с матерью и двумя сестренками. Отец от них ушел. Я его понимал — разве приятно жить с тремя, нет, с четырьмя рыжими женщинами? Мать у Светки тоже рыжая, маленького росточка. Одевались они понятно как — ведь трудно жили. Но наши девчонки трудности Рыжухи во внимание не принимали. Наоборот, презирали Рыжуху еще и за то, что она без отца.

Ладно. Светка так Светка. Рыжая так рыжая. Чего я о ней.

Очень любили мы походы. Каждый год ходили в них по нескольку раз. И осенью, и весной. Иногда и зимой в лес выбирались. Ну а летом и говорить нечего, летом поход был обязательно с ночевкой.

Наше любимое загородное место было Озел. Не Козел, а Озел. Это по-коми, но не знаю, как переводится. У нас даже коми ребята этого не знают. Но это не важно. В Озеле славное озеро — длинное и не очень широкое. По одному берегу — сосновый бор, по другому — луга. Мы на лугах останавливались. Палатки ставили, все честь честью.

Мы с Женькой Тороповым в походах всегда рыбачили. Тем более в Озеле. Озеро под носом, рыбное, и окуни тут брались, и сорога, а ерши, так те в очередь выстраивались, чтобы на удочку клюнуть. Всегда мы девчонкам на уху приносили. Уха, это же объеденье, хоть из-за одной ухи в походы ходи, до того вкусно.

Брали напрокат лодку — была тут небольшая лодочная станция — и плыли на середину озера. Все дни напролет с Женькой рыбачили. А вечером... Вечером, на зорьке, самый клев, а нам половить не удавалось.

Из-за Рыжухи.

Она с нами тоже в походы ездила. Ведь знала, что одноклассники ее не любили, а все равно ездила.

Не прогонишь же.

Вечером возьмет Светка синюю лодку и тоже на середину озера гребет. Вокруг красота, солнышко за сосны закатывается, в воде с деревьями отражается, а вода тихая-тихая, и видно, как со Светкиных весел срываются розовые от солнца капли.

Выгребет Светка на середину озера, весла в лодку опустит и начинает. Выть начинает.

То есть, она пела, конечно, но мы это пением не называли. Высокий голос Рыжухи раздавался далеко по озеру, по лугам.

Клевать у нас переставало.

Почему ей нужно было обязательно на середине озера петь — не понимаю. Может, окружающая природа вдохновляла. К тому же от воды резонанс сильный. Ей, наверное, нравилось, что ее голос на весь мир разносится.

Что она пела — не берусь сказать. Жалобно, заунывно. Никогда я больше таких песен не слышал.

Женька Торопов начинал ругаться. Ругался и плевал в озеро в сторону Рыжухи. А я неторопливо сматывал удочки.

Выла Рыжуха час-полтора. Если ей казалось, что та или иная песня не удавалась, она заводила ее снова.

Мы вытаскивали лодку на берег и шли к одноклассникам.

Нас встречали смехом.

— Воет?— спрашивал кто-нибудь.

— Ну,— отвечал я коротко, а Женька разражался гневной тирадой, которую я приводить не буду.

— Дура рыжая,— кривила губы Маринка Быкова.— И чего она с нами прется? Выла бы дома.

А голос Рыжухи все разливался, и было в нем что-то родственное с начинающей расти травой, легкими перистыми облаками, теплым воздухом, в котором роились еще не умеющие кусаться комары.

Почему-то нам с Женькой не приходило в голову поговорить со Светкой по-человечески, попросить, чтоб она не пела над озером, не портила нам рыбалку. Может, она и не знала, что мешает кому-то.

В день последнего экзамена в восьмом классе Нинка Пчелкина бросила клич:

— Кто завтра в поход?

И тут же устроила запись.

Она же распределила обязанности. Девчонки закупают продукты, мальчишки идут в прокат за палатками и спортинвентарем.

Тогда же Женька Торопов подвалил к Рыжухе, оперся руками о ее стол и сказал:

— Рыжуха, сделай доброе дело, а?

Рыжуха вспыхнула и насторожилась. Никто к ней с просьбами не обращался.

— Какое?

— Не езди с нами в поход.

Рыжуха поджала бледные губы и ничего не ответила.

— Не поедешь? Не езди, будь другом.

— Я с вами поеду,— высоким голосом сказала Рыжуха,— а буду отдельно.

Вот это «отдельно» и было для нас всего опаснее. Опять «отдельно» от всех будет на озере выть! Опять вечерней зорьки мы не увидим.

Женька отошел от Рыжей и прошептал мне:

— В этот поход я Рыжую не пущу. Или я буду не я.

Он торжествующе поглядел на Светку, словно уже добился своего.

Теплым июньским днем мы на палубе теплохода. Нас, дружных, тридцать душ. У наших ног тюки с палатками, рюкзаки, из которых

выпирают хлебные буханки, картошка, выглядывают ракетки для бадминтона. У нас с Женькой еще и удочки. По всякому поводу мы смеемся — экзамены позади, лето впереди, настроение у всех — блеск.

Рыжуха сидит на краю скамейки, рядом с ней — пустое пространство. Рядом с ней никто не садится.

За минуту до отхода теплохода к Рыжухе подходит Женька. Он в синем спортивном костюме фирмы «адидас» — стройный симпатичный малый. Выражение лица Рыжухи становится встревоженным, она чувствует подвох.

— Это твоя сумка? — спрашивает Женька и кивает на допотопную дерматиновую сумку, которая стоит около Рыжухи. В сумке, наверно, бутерброды с маслом и яйца. Сверху высовывается серенький свитер, его Рыжуха, видно, взяла на случай похолодания. Я живо представил, как она в этом свитере сидит в синей лодке и портит нам рыбалку.

— Моя, — отвечает Светка.

— Алле хоп! — говорит Женька, хватая сумку, и бежит с ней по палубе. И вот мы слышим, как он кричит уже с пристани.

— Эй, Рыжая! Вон где твоя сумочка! Слышь?

Мы глядим через борт теплохода. Женька ставит сумку на железный пол причала и мчится обратно. И тут теплоход зафырчал, за кормой забурлило. Но трап еще не убрали, около него стоит матрос в модной футболке и пропускает опаздывающих пассажиров.

Рыжуха сидела-сидела, глядя в пол, а потом как вскочит и вниз, к выходу. Еле успела на берег, теплоход сразу же отчалил.

Свитера, наверно, жалко стало.

Женька рядом со мной стоит, Светке рукой машет и орет:

— До свиданья, Рыжая! Извини, но нельзя тебе на озеро, ты рыбу распугиваешь!

И девчонки со своих мест ей ручкой делают и кричат противными голосами:

— Прощай, подруга!

— Больше не увидимся!

— Ха-ха!

И давай Женьку хвалить, что он так ловко с Рыжухой устроил.

Чего девчонки радовались, я, честное слово, не понял. Ну мы с Женькой — ладно, нам Светка мешала рыбу ловить. А им-то что? Ведь вместе со всеми Рыжуха и не бывала. Бродила одна по лугам, одна у костра сидела, когда все уже по палаткам расходились. Ела то, что с собой приносила. В начале похода она свои припасы на общий стол выкладывала, но ее хлеб с маслом и яйца Быкова всегда в сторону отодвигала.

— Это — не трогать. Это — неприкасаемой.

При этом лицо у нее было такое же брезгливое, как на уроке физкультуры, когда Маринке выпадало делать упражнения с Рыжухой.

Теплоход еще не отошел от города, а мы о Рыжухе уже забыли. Лишь на вечерней зорьке я о ней вспомнил, и в сердце ворохнулось что-то неприятное.

Но зато никто на озере не шумел. И клевало у нас отлично. И Женька был особенно разговорчив. А мне что-то мешало радоваться.

В девятый Рыжая не пошла. Классная сказала, что она поступила в музыкальное училище.

А еще через пять лет произошла такая история.

В то время я начинал учиться в одном из Ленинградских вузов. И познакомился с девушкой, которая взялась подковать меня, провинциала, в культурном отношении. В один прекрасный день она повела меня в Кировский театр, на оперу.

И что же я вижу в первые минуты спектакля?

На сцене появляется золотоволосая красавица. У нее очень белая кожа на лице и руках. Пока я еще ничего не подозреваю, просто отмечаю про себя, что женщина на сцене — красивая. Но когда она запела высоким, удивительно каким-то знакомым голосом, меня бросило в пот.

Я не выдержал и громко воскликнул:

— Рыжуха!

— Тише!— шипит на меня знакомая девушка.

— Ты понимаешь, это Рыжуха,— шепчу ей.— Мы с ней в одном классе учились.

— Что ты говоришь?— всполошилась знакомая.— Это же наша восходящая звезда!

— Как ее звать?

— Светлана Сергеева.

— Точно, ее, кажется, Светкой звали!

После спектакля знакомая говорит:

— Может, пойдешь за кулисы? Ей приятно будет увидеть своего земляка, да еще одноклассника. Жаль — цветов не купили!

— Да нет, давай в другой раз,— скромно ответил я. Мне нисколько не хотелось встречаться с Рыжухой с глазу на глаз. Я уже понимал, конечно, что мы, дружные, Рыжую обижали.

По дороге я рассказал знакомой о Светке, о том, как пела она на озере. Теперь я не говорил, что она «выла». Мой авторитет в глазах знакомой значительно подскочил.

— Жалко, что ты к ней не подошел,— все сокрушалась она.

Ночью я лежал и думал, что везет же дурам. Нет, чтоб кто-нибудь другой из класса прославился. А то — Рыжуха.

ВЗРЫВ НОВОГОДНЕЙ ХЛОПУШКИ

Дмитрий Иванович был молодым угрюмым человеком со всклоченными волосами. Во время урока он ходил по пространству класса равномерно, как маятник часов. Говорил резко, отрывисто и не любил повторять дважды одно и то же. Поэтому его объяснения понимали не все.

Дмитрий Иванович пришел в школу недавно, после университетского курса, по распределению. Работу учителя не любил и еще не успел к ней притерпеться. На учеников взирал равнодушно, как продавец на покупателей. Он чувствовал, что ребята его не любят. Да и за что его было любить?

Ему казалось, что хуже всех понимает физику одна девчушка из восьмого «А». Она сидела на третьей парте у окна — с бледным лицом, с коротенькой светленькой стрижкой. Глаза ее казались огромными, может, потому, что она смотрела на учителя всегда как-то испуганно. Иногда ее глаза даже пробуждали в нем совесть. «Вот ведь как я их, бедных, запугал»,— думал он, столкнувшись с ней взглядом. После этого он несколько минут пытался объяснять материал подробнее и мягче. Спрашивал ребят:

— Понятно?

Но класс молчал. Дмитрий Иванович вопросительно смотрел на девочку с испуганными глазами — он никак не мог запомнить ее имени. Она тут же опускала глаза. Но через некоторое время физик вновь ловил на себе ее упорный взгляд.

Он никак не связывал этот взгляд с теми звонками, которые раздавались в его квартире.

В первый раз в дверь позвонили месяца два назад. Он открыл. Никого не было, только внизу, примерно на третьем этаже, слышались шаги, кто-то убегал. Звонки стали повторяться чуть ли не ежедневно, и каждый раз Дмитрий Иванович давал себе слово, что завтра обязательно погонится за хулиганом и надерет ему уши.

Но всякий раз бежать было лень, и Дмитрий Иванович переносил решение на завтра. Он не особенно злился на шалунов, случалось в детстве, что и он шалил точно так же. Только было непонятно, почему мальчишки поднимались так высоко — на пятый этаж. Могли бы выбрать дверь пониже.

Звонили не мальчишки. Звонила девочка с испуганными глазами. В первый раз она ни за что бы не решилась сделать это, зная, что Дмитрий Иванович дома. Но в его окнах не было света (Дмитрий Иванович вздремнул), а ей страшно хотелось узнать, какой голос у его звонка. Она длинно позвонила и, услышав шаги за дверью, убежала.

Ей хотелось знать все, что касалось нового учителя. Например, сколько ему лет. На вид — двадцать пять. «Старый уже»,— говорили одноклассницы, и она соглашалась: да, старый. Ну и что? Девчонки говорили, что он бука и сухарь и вообще уродливый, а ей он казался

хорошим и красивым. У него такие необыкновенно серьезные глаза! И волосы смешные — торчащие. Сколько он ни приглаживает их, они все равно топорщатся на голове, словно смеются над чем-то.

Почему-то нелюбимая раньше физика стала для нее жданной. Почему? Смешной и совсем легкий вопрос! Дмитрий Иванович нравился ей. А вот чем нравился — этот вопрос куда труднее. Она не знала на него ответа. Нравился, да и все! Когда он случайно взглядывал на нее, сердце куда-то в пятки уходило, а потом медленно возвращалось на место, словно всплывало.

Страшно было встречаться с ним взглядом — вдруг он догадается обо всем? Страшно, а все же хотелось, чтобы он смотрел на нее чаще, чаще. На переменах она прогуливалась вдоль физического кабинета. Дмитрий Иванович почти не бывал в учительской, все время проводил в маленькой лаборантской, заставленной приборами. Изредка он выходил, но не замечал ее. Ну и что? Зато она очень хорошо его видела и с какой-то безотчетной радостью смотрела вслед.

Она выследила, где он живет. Каждый вечер приходила смотреть на его окно. Оно было такое же, как другие, но все равно особенное. Свет этого окна словно бы грел ее. Она заходила в подъезд, робко поднималась на пятый этаж и нажимала на кружок звонка. Каждый день манил ее этот звонок, словно заговоренный.

Она звонила и сразу убегала. Она сама не знала, зачем делала это. Просто хотелось, чтобы в ЕГО квартире прозвучал ЕЕ звонок! Когда она прикасалась к коричневой кнопочке, то чувствовала мгновенное счастье, которое маленькими иголочками пронзало ее всю.

У нее и в мыслях не было, что можно остаться перед дверью и тогда, когда она откроется. Вот если бы она была в шапке-невидимке!

Так продолжалось до Нового года, любимого праздника, пахнущего елкой и свежим снегом. Девочка уже решила, что поздравит Дмитрия Ивановича. Обязательно поздравит! Таинственно так, что он не будет знать, от кого поздравление. Девочка долго думала, как это сделать. Послать открытку без подписи? Но открытка — слишком обычный, слишком неинтересный способ. Надо, чтобы было необычно и даже загадочно.

Наконец, девочка придумала.

Вечером под Новый год она исчезла из дома, где было много гостей, громко говорил и пел телевизор и младший брат, сидя под столом, деловито привязывал к шнуркам гостей разноцветные ленты, котрыми были перевязаны принесенные в дом подарки.

На улице мягко светили фонари, снег падал какими-то необыкновенными льдистыми искрами. Горело множество окон, и кое-где даже сквозь шторы просвечивали разноцветные огни елок. В окне Дмитрия Ивановича тоже горел желтый свет.

Девочка зашла в подъезд. У нее было две хлопушки, и она знала, что с ними делать. Поднимаясь на пятый этаж, она слышала за дверями квартир веселые голоса, тот же громкий звук телевизоров, звон посуды.

Хлопушки она укрепила к ручке двери, а веревочки от них привязала к лестничным перилам. Дверь будут открывать, и хлопушки хлопнут. Вот и все. Девочка положила под дверь новогоднюю открытку без подписи. Будет такое впечатление, словно открытка выпала из хлопушки.

Нервы девочки напряглись. Ее часики с зеленым циферблатом показывали без трех минут двенадцать. Когда в квартирах послышался бой кремлевских курантов, возвещавших начало Нового, интересного неизвестностью года, она нажала на звонок и опрометью бросилась вниз.

Такого грохота девочка не ожидала. В пустом подъезде звуковой эффект был гораздо сильнее, чем в комнате или на улице. Пооткрывали двери перепуганные соседи. А Дмитрий Иванович уже несся огромными скачками вниз по лестнице. Наконец-то он поймает этого хулигана! Должен поймать! Сколько можно?

По дороге Дмитрий Иванович потерял один шлепанец, но не стал за ним возвращаться. Скорее!

Хулигана он настиг на крыльце. Схватил его за рукав пальто и втащил в подъезд, на свет.

— Это ты?!— вырвалось у него.

Из-под козырька мальчишечьей шапка-ушанки на Дмитрия Ивановича смотрели знакомые испуганные глаза. Дмитрию Ивановичу стало неловко за свою ногу без шлепанца. Он спрятал ее за другую да так и стоял, как журавль, на одной ноге перед угловатой девочкой из восьмого «А», которая таращилась на него все уроки.

Он вдруг вспомнил ее имя. Оля. Да, Оля.

По блестящим испуганным и в то же время счастливым Олиным глазам Дмитрий Иванович понял все. Эта откровенность в глазах потрясла его. Стало стыдно за свои равнодушные школьные объяснения, захотелось рассказать ей, что он не такой уж плохой, просто не на своем месте. Но он сказал только:

— С Новым годом, Оля!— И пожал ей горячую руку.

Оля кивнула. Дмитрий Иванович был сейчас совсем не такой, как в школе. Лучше, гораздо лучше! Молодой, добрый, веселый! Глаза его смущенно улыбались, а в школе все время хмурились. Он что-то хотел сказать ей. Она смотрела на него и ждала.

С пятого этажа Дмитрия Ивановича нетерпеливо окликнула молодая женщина, с которой он встречал Новый год...

Возвращаясь наверх, Дмитрий Иванович улыбался и в недоумении пожимал плечами.

Он холодно, никого в отдельности не замечая, вел уроки в школе! За что же ТАК относится к нему эта малышка, которая, услышав женский голос, позвавший его, вдруг заплакала и вылетела из подъезда?

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ

История в письмах

ПРОЛОГ

Когда Катя приехала на каникулы в Петрозаводск, и ей, и Феде было по четырнадцать лет.

Они познакомились на берегу Онежского озера в жаркий и поэтому, казалось, ленивый день — и озеро лениво плескалось, и облака никуда не спешили. Народу на пляже было полно. Катя, еще совсем незнакомая девочка, загорала рядом с Федей. Тоненькая, уже успевшая где-то загореть, она читала какой-то журнал. Около ее ушей без движения висели завитушки волос, и Феде невообразимо тянуло их потрогать. Но он ни за что на свете не посмел бы сделать это, он просто лежал рядом и гипнотизировал девочку. Но она не поддавалась гипнозу, и тогда Федя тихонько подул в сторону завитушек. Они колыхнулись. Девочка повернулась к Феде и вопросительно на него посмотрела. И тогда он неожиданно сказал:

— Здравствуй.

— Здравствуй,— удивленно ответила девочка.— Не может быть, чтоб ты меня знал. Я приезжая.

— Федя.

— Катя.

Так просто они познакомились.

Каникулы с Катей — один только месяц — пролетели серебристым самолетом. Вместе они загорали, купались, ходили по грибы с Катиными родными. В последний день, перед тем, как Кате идти на поезд, Федя привлек ее к себе и несмело поцеловал в завитушки около ушей.

А потом тянулись долгие годы. Первые три Федор жил Катиными письмами.

ГОД ПЕРВЫЙ — ВОСЬМОЙ КЛАСС

Письмо первое

Здравствуй, Федя!

Ты извини, что целую неделю не писала. Приехала от вас, а меня все уже заждались — мама, девчонки. Все закружилось, завертелось: школа, Малая академия (я там на медицинском), домашние задания...

Федька!

У меня было такое чудное лето!

Помню и озеро ваше чудесное, и ваш дворик зеленый, и сестрен-

ку твою, Людмилку, знаешь, она мне все время язык показывала, ты отвернешься, она и высунет свой розовый язычище.

Помню и тебя, чудного мальчишку с нерешительными глазами. Скажу тебе, а ты не смейся.

Федька, с тобой было очень хорошо дружить, ты какой-то неназойливый, спокойный. Вот идешь рядом и молчишь, и мне очень хорошо. От тебя никогда не устаешь, не то что от моих подружек-балаболок.

Только не зазнавайся, что я тебе в этом призналась. Не зазнаешься? Молодец.

Знаешь, Федя, а у меня есть дрозд. Мы с Валей поймали. Кто-то подбил ему крыло, и он прыгал по дорожке, скок-скок. Я принесла его домой, и сейчас он у меня скачет. По крайней мере, не надо опасаться, что его сожрет кошка. У нас нет кошек, мама их просто терпеть не может.

Ты пиши мне, Федя, хорошо?

Я хочу, чтобы год скорее прошел, и я снова приехала к вам на каникулы. И мы снова с тобой встретимся.

Катя.

Письмо второе

Федька!

Я собрала всю свою смелость и посылаю, знаешь, что? Ну, догадайся! Да-да, именно то, что ты просил: фотографию. Только ведь сразу разочаруешься — страшненькая я там получилась. Посмотришь на фото и воскликнешь: спасайся кто может: баба-яга! И все равно я умница — не испугалась фотографа. Это ради тебя. Вообще ненавижу фотографироваться.

У нас осень, вернее, бабье лето. (А потом будут бабьи слезы, так мне одна женщина в автобусе сказала, правда, хорошо?) Такое замечательное. Представь: красные, малиновые, алые листья урюка и среди этих костров белые березоньки.

Почему-то я полюбила бродить одна. Никогда такого не было. Раньше мне хотелось гулять с подружками, шутить, смеяться. Часто тянуло лететь, да-да, именно лететь — раскинуть руки и парить как птица.

А теперь на меня напала какая-то тишь. Иду-иду по осенним листьям, они шуршат. Как будто я одна на всем свете.

Ты, наверно, прочтешь и скажешь: несет какую-то чушь. Но ты так не говори, ладно? Ведь когда я смотрю вдаль, на дорогу или на сад, усыпанный золотыми листьями, мне кажется, что ты там. И что стоит мне пойти туда, я тебя обязательно встречу. И я иду туда в самом деле. Только тебя нигде нет.

Федька! Ты такой хороший, и так ты далеко!

Катя.

Письмо третье

Стоит февраль, а у нас уже тает снег. В городе его почти совсем не осталось. Тепло, солнышко ласковое.

Мальчишки из нашего класса ходили в горы. В горах, конечно, тоже тепло, но снег еще лежит. Они там загорали, пили холоднейшую родниковую воду, пели песни до хрипоты. А так как к горному воздуху они все же непривычные, на следующий день все поголовно заболели. Взрослые люди, а в голове крохотный умишко. Неделю назад забрали у меня варежки и три дня не отдавали, а утрами еще холодно. Ну разве нормальные люди так поступают? Марат Рузиев выхватил из кармана моего школьного фартука платочек и говорит: «Возьму на память, он у тебя такой хорошенький». Делают что хотят.

В нашем классе все девчонки комсомолки, а мальчишки и не думают вступать. Валя Вальтер должна их готовить, бегает за ними, уговаривает. Раздала всем комсомольский устав, а они взяли и написали на нем всякую чепуху. Об этом узнала вся школа, и на линейке не только мальчишкам, но и нам попало. Говорят, раз вы комсомольцы, должны за них отвечать. Всем снизили отметки по поведению за неделю.

После этого случая несколько мальчишек купили конфеты «горошек», роздали остальным парням и на физике кидались. Тамара Антоновна даже плакала на классном часу. Сказала, что мы никуда не годный класс. А Колька Артамонов встал и ответил:

— Тамара Антоновна, извините нас, но мы это сделали нарочно. Чтобы нас перестали тащить в комсомол. Мы вступать не хотим, а если нас будут заставлять, придется и дальше вести себя плохо.

И от них отступились. И правильно. Зачем заставлять?

А помнишь, Федя, как ты мне помог доплыть? Я, наверное, и правда до берега бы не дотянула. Ох, даже страшно писать это слово, одна я, наверное, бы утонула. Просто не знала, что вода в озере такая холодная. Раньше у меня никогда судороги не бывало. И потом — как мы грелись с тобой у костра. И дрова в нем чудесно пахли. Спасибо тебе, Федя, и за костер, и за озеро. Ты бы знал, как часто я об этом вспоминаю.

У вас, наверное, еще середина зимы. Очень много снега. И ваш небольшой дом, может быть, заблудился в сугробах. И если бы я сейчас приехала к вам, то, наверно, бы его не нашла.

А нас совсем размыло! Снег ужасно тает! С гор реки! В низинах смыло несколько домов! Ледники взрывают, аж стекла звенят! А еще некстати дождь!

Пиши мне!

Лето не за горами, и мы скоро увидимся. Интересно, что ты мне скажешь? И что я тебе скажу?

Катя.

Письмо четвертое

Здравствуй!

Пришла весна, и на носу лето. Через месяц каникулы. Но зачем они мне, Федя?

Мама не пускает меня к вам. Не пускает и все. Тетя с дядей зовут, а она не пускает. Не объясняет — почему, получается, что просто не хочет. Денег у нее нет на билеты? Неправда, мы получаем от отца алименты. Ах, как плохо!

Может, мама боится тебя, Федя? Нашей дружбы с тобой? Она знает о нашей переписке. Знает, как ты нравишься мне и что ты ко мне не равнодушен. Я от мамы ничего не скрываю, она мой друг.

Но она теперь не пускает.

Лучше бы не было этих каникул, пусть бы все время учиться. Уйти в учебу с головой, забыться, не думать о тебе, не считать перед сном денечки — сколько до каникул осталось?

Что ж — теперь снова считать? Все сначала? Считать все каникулы и весь следующий учебный год? И снова ждать встречи с тобой, но теперь уже — следующим летом?

Ах, Федя, все мечты мои оборвались, осталась пустота, и она постепенно заполняется теми же мечтами, прежними,— встречей с тобой.

Ну что ж. Люди выдерживают и не это. Подумаешь — еще год разлуки.

Целый год, Федька! Я спросила у мамы: «Ну а на будущий год я смогу поехать к тете и дяде?» Мама ответила: «Да».

Письмо пятое

Федька!

Ну что же ты, Федька!

Ведь мы еще дети и не вправе распоряжаться собой. Ну как я поеду, раз мама не пускает?

Главное ты, Феденька, знай: ты мой самый-самый первый друг. Самый хороший.

Катя.

Письмо шестое

Здравствуй, Федя!

Я задержалась с ответом, и ты поймешь — почему. После экзаменов мы с девчонками — Валей, Розой и маленькой Таней — ходили в горы. Было так замечательно! Спали в шалаше из сена. Мама беспокоилась, но ничего с нами не случилось. Загорели отлично. Я такая черная стала, как казашка, а они у нас вообще шоколадные. Мама меня даже не узнала. Теперь все тело горит. Но нет, не бойся, я не сгорела, я уже привыкла к нашему солнцу. А вот у вас солнце холодное.

Феденька! Милый! Как я по тебе скучаю! Как было бы здорово, если бы ты жил в нашем городе.

И мы с тобой ходили бы в горы.

Пиши!

Катя.

Письмо седьмое

Федя!

А меня чуть не похитили.

Я сплю в саду, а кто-то из ребят хотел, видимо, подшутить. Ночью сдернули с меня одеяло, взяли за руки и за ноги. Я проснулась, да как закричу! Меня сразу отпустили, я услышала, как кто-то убегал.

Мама страшно перепугалась, сказала: «Спи дома». Крику было, а все не из-за чего. Я в саду и осталась на своей раскладушке. Не хочу дома, не могу и не буду. Все равно уйду в горы с экспедицией или в степь или в пустыню. Не могу переносить этот дом. Все уже надоело — эти диваны, телевизоры, цветочки в вазочках. Как ты всегда можешь быть дома? Я почти все время в саду, у меня здесь намного лучше. Сколочен стол такой грубый, скамья великолепнейшая, недалеко кусты смородины, а по другую сторону — цветы-ирис. Стоят две бочки с водой, а около — ведро, в нем деревянный ковш. Я люблю из него пить воду или молоко.

Почему-то я полюбила поле. Хорошо! Идешь-идешь, потом выпьешь холодной воды из ручья, сядешь под куст и в траву-мураву медленно-медленно ляжешь. Трава вся склонится на тебя, и ты чувствуешь нагретую землю и запах свежей травы, и как сквозь нее пробиваются лучи солнца.

Сейчас у нас сенокос. Недавно ходила смотреть. Один парень — веселый, в веснушках — давал мне покосить, но у меня ничегошеньки не получилось.

А какое чудо — сено! Знаешь, в нем столько упрятано солнца! А ты лежал когда-нибудь на копне? Вот чудо! Попробуй! Лежишь-лежишь, глядя в небо, а от солнца идет теплый, удручающий запах. от которого кружится голова. Сколько я лежала на сене, и никогда не надоедало. Всегда меня кто-нибудь стаскивал: или девчонки, а если я одна, то объездчики, а если сено в саду — то сторожа.

Я так хочу в деревню! И чтобы у нас обязательно была корова. Знаешь, почему? Чтобы кругом пахло парным молоком, коровой и сеном. И больше ничего мне не надо. Так бы и жила в деревне — своей семьей. И чтобы у меня были дети — мальчик и девочка. И чтобы у них обязательно был отец. Правда, сама я выросла без отца и мне вообще он не нужен — привыкли с мамой вдвоем, нам хорошо, спокойно. Но у моих детей отец пусть обязательно будет.

А ты, Федя, хотел бы жить в деревне?

Как бы я хотела зарыться сейчас в сено и проспать все каникулы, весь девятый класс и скорее встретиться с Федькой!

Катя.

Письмо восьмое

Здравствуй, Федя!

Вот и кончилось это нудное лето. Скучнее него у меня еще не было каникул. Всего несколько дней осталось до школы.

А все-таки странно, Федя: лето было скучное, но счастливое. Временами счастье так и накатывало на меня, поднимало на гребень зеленой волны и обрушивало вниз, как с горы.

Наверное, так я прощалась с детством. С каждым часом, с каждой минутой чувствовала, как становилась взрослее.

Как прекрасно, что мы молодые, правда? Всегда бы быть такой веселой, радоваться всем и всему.

Посмотришь иногда человеку в глаза, все равно — женщине или мужчине — и в тебя вселяется какое-то странное чувство: вот если бы тебе сказал этот человек, совсем незнакомый — умри, вот для меня умри, умер бы, не задумавшись.

Ну и письмо у меня, правда?

Но письма зависят от настроения. А если я переполнена счастьем, то почему бы не написать тебе?

Ты мне, Федя, очень нужен, понимаешь?

Мне больше никого не нужно, вот и все.

Пиши.

Катя.

ГОД ВТОРОЙ — ДЕВЯТЫЙ КЛАСС

Письмо девятое

Здравствуй, Федя!

Сегодня понедельник, и пришло твое письмо. Я очень рада, ведь сегодня пятое сентября, и мне исполнилось пятнадцать лет. И твое письмо — твой для меня подарок.

День сегодня вообще какой-то необычный. Очень красивый — солнце светит сквозь легкие, словно тюлевые, облака.

И в школе меня не спрашивали, и отпустили пораньше — почему-то не было последнего урока. Вот сколько подарков сразу.

Да, еще утром!

До школы с нашей окраины мы добираемся на автобусе. Нас человек десять школьников едет. Садимся на конечной остановке на задние сиденья, автобус идет минут тридцать, и мы повторяем уроки. И вот сегодня утром в автобус зашли два цыгана. Оба смуглые-смуглые, с большими глазами. У одного серьга в ухе. Сели впереди и запели раздольную цыганскую песню. Это было, Федя, так красиво! Так складно!

Вот это был первый мой подарок.

Пишу тебе ночью. Мама спит. Стоит необыкновенная тишина,

только ночник — так называют у нас какую-то птицу — поет, да цикады трещат за окном. Да еще тополя перешептываются.

Я не сплю. Жду двух ночи. Наш учитель физики Вячеслав Сергеевич сказал, что сегодня в два часа ночи будет звездный дождь. Его я и жду. Ведь это чудесно — в день рождения звездный дождь. Три прекрасных подарка: песня, письмо, звездный дождь. Только бы не проснулась мама. Увидит, что не сплю — мне не сдобровать. Вот хорошо Вале, у нее все спят крепко, а моя мама ну просто заяц. Вздохнешь поглубже — она уже просыпается.

А знаешь самое-самое мое заветное желание?

Смотреть звездный дождь с тобой.

Пиши, пиши, и пиши!

Катя.

Письмо десятое

Федька!

Хочу встретиться с тобой очень-очень. Посмотреть, какой ты стал. У нас в классе все мальчишки удивительно повзрослели. Все до единого переросли девчонок, говорят басом.

Около нашего дома жил мальчишка. Все время был маленький, тоненький, нежный. Лицо белое-белое. А совсем недавно вернулся из другого города, где был на каникулах — боже! Длинный, широкоплечий, усики над губой. И взгляд совсем взрослый.

Федя, неужели и ты так же изменился? У тебя были такие нерешительные глаза.

Пиши мне!

Катя.

Письмо одиннадцатое

Здравствуй, Федя!

Давно хотела написать тебе об одном человеке, да все не решалась. А сегодня напишу, может, ты меня успокоишь.

Этот человек совсем взрослый, ну, то есть, совсем-совсем. Видно, что не парень, а мужчина. И вот, Федя, каждое утро он встречает наш автобус и едет с нами одну остановку. И все это время он смотрит на меня. Нет, он не какой-нибудь шаромыга, одет модно, и лицо у него хорошее, но глаза... Они смотрят на меня неотрывно и пугают. Может, он и раньше ездил с нами, но я заметила его лишь месяц назад.

Что это, Федя? Я ужасно боюсь. Приближается та остановка, меня уже колотит. Смотрю в окно; стоит среди других людей. Автобус останавливается, он бросает сигарету и входит. И сразу его взгляд натыкается на меня. Пригвождающий к месту взгляд. Мне становится не по себе, я перестаю понимать о чем говорят Валя и Роза. Стараюсь не смотреть на человека, но он словно колдун, притягивает и мой взгляд к себе. Ну и глаза у него — примораживают!

Когда он выходит, я перевожу дыхание.

Знаешь, я боюсь его и в то же время... жду. Жду!
Что это?
Девочки смеются: дядька влюбился в тебя.
А мне страшно.
Пиши!

Катя.

Письмо двенадцатое

Федька, не бойся, не бойся, я тебе сейчас все объясню. Сама я уже ни капельки не боюсь.

На другой день после письма к тебе этот странный человек ждал меня у школы. Мы вышли с Валей и Розой и направились в сторону автобусной остановки. И тут нас кто-то окликнул:

— Девушки, подождите!

Я оглянулась и примерзла к месту. К нам подбегал ТОТ тип. Никогда его раньше не было тут и никогда он раньше не заговаривал. Только смотрел. Я чуть не умерла от страха.

Если бы смогла, то, наверное, убежала. Но я стояла как вкопанная. А человек приблизился и сказал, глядя на меня:

— Мне надо с вами поговорить. Да, с вами.

Я растерянно переглянулась с Валей и Розой.

— Зачем?— вырвалось у меня.

— Я вижу, вы меня боитесь. Хочу вам кое-что объяснить, чтоб не боялись.

Я пожала плечами, снова растерянно глянула на подруг.

— Давайте отойдем немного,— сказал он, и видя, что я все еще не решаюсь, повторил: — пожалуйста, не бойтесь меня.

Был разгар дня, народу полно на улицах, поэтому я пошла с ним, а иначе бы струсила.

Мы сели на скамейке в сквере недалеко от школы. Валя с Розой заняли соседнюю скамейку, с опаской поглядывали на незнакомца. Одну меня они боялись оставить.

Мимо пробежал Мухтарка Рузиев из нашего класса, бросил на ходу:

— Это что, Катька, твой батя?— Глупый, видел ведь, что человек для «бати» по возрасту не подходит.

Сидим мы, и вижу я, что человек страшно волнуется. Ну совсем не меньше меня. Полез во внутренний карман куртки, достал бумажник, а оттуда какую-то фотографию. Протянул мне.

Я взяла.

На небольшой фотографии была заснята девушка — точная моя копия. Я даже сначала подумала, что это — я, но вовремя вспомнила, что у меня никогда не было такого платья в полоску и такой — башенкой — прически.

— Кто это?— спросила я.

— Эту девушку я очень любил,— медленно произнес человек. Помолчал и добавил: — И сейчас еще очень люблю.

— А где она?— потрясенная, нет, не любовью, до меня она еще не дошла, а такой жуткой внешней похожестью, спросила я.

— Об этом долго рассказывать. Я ее потерял. Уже давно,— ответил человек.

Мы говорили, наверно, целый час. Роза с Валей совсем извелись на своей скамейке. Роза на какое-то время исчезала, потом вернулась с двумя булками. Они ели эти булки, крошили кусочки воробьям и нетерпеливо поглядывали в нашу сторону.

А мне было уже ни капельки не страшно, а только очень жалко этого человека.

Ему уже тридцать лет.

Когда он меня впервые случайно увидел, то сначала подумал, что это она, его потерянная любовь. Потом очнулся — все же я намного младше. Потом он меня выследил (он извинился за это) и стал перед работой ждать автобус, чтобы на меня просто посмотреть. Он и не хотел ко мне подходить и не подошел бы, если бы не увидел, что я его боюсь.

Он говорит, что не только лицо, но и голос, смех, взгляд — все похоже. Что ему даже трудно сидеть рядом со мной. Трудно себя сдерживать, потому что женщины, которые близки, волнуют мужчин. «Мужчина — это не мальчик». Во время нашей беседы он часто сжимал кулаки, и его охватывала какая-то дрожь.

Вот такая, Федя, история. После той встречи я еще раз видела его у школы. Он заметил, что я на него смотрю и как-то судорожно отвернулся. Я думала, что он снова подойдет, но нет.

Неужели, Федя, бывает такая любовь? И почему они расстались? Жалко, правда?

Пиши мне!

Письмо тринадцатое

Федька!

Так долго не было от тебя писем, что мне казалось, я вообще тебя не знаю. Наконец-то письмо. Уф. Все по-прежнему, а мне казалось, ты меня позабыл.

Опять весна. Как хорошо! Листья на деревьях уже большие, блестящие. Яблони расцвели, в горах — тюльпаны, только все почему-то красные. И еще распустился такой цветок, похожий на розочку, он называется марьины коренья, но мы с девочками зовем его «Марья Коревна». Он очень высокий, подтянутый, темно-красный, строго-красный, ну прямо учительница Марья Коревна.

Ты, Федя, извини, что я пишу тебе о всяких цветочках. Ведь я же девушка, а все девушки любят цветы.

Вчера я ходила в горы. Как прекрасно смотреть оттуда на город. Видны только крыши, и все в сплошном кипении фруктовых садов.

Раньше я не замечала, что весна красива. Она мне вспомина-

лась так: грязь, кое-где травка, опасность селей и лавин... и только.

А сейчас у меня раскрылись глаза. А правда, что весна головы кружит? Ведь говорят: весна голову вскружила.

Я снова не могу усидеть дома. Весь день была на улице. А мама не пускает и не разрешает смотреть в окно, а перед нашим домом растут огромные, как свечи, тополя, вот они-то мне и кружат голову. А мама говорит, что если так будет продолжаться, плакали хорошие оценочки за год. Она, как всегда, права.

Жду каникул, жду встречи с тобой, Федька!

Катя.

Письмо четырнадцатое

Федя, ужасно трудно писать, а ответить хочется.

Мы с девочками были в саду, а там такая высокая трава, что ещё ей чуть-чуть подрасти, и меня совсем не будет видно. Ну вот я и полетела в какую-то яму и сейчас очень болит рука, та, которой пишу.

Сегодня учились последний день. А ночью мне приснился сон, что я снова приехала в ваш город, приехала с мамой, но город был совсем другой, и тети с дядей там не было, и не было тебя.

Но на самом деле ты будешь, да? Никуда не уедешь? И мы с тобой встретимся? Уговариваю маму уже покупать билеты, она отвечает: успеется, летом на север уехать легко.

Прошло два года, а мне кажется, что только вчера мы гуляли по вашему чистому городу, ходили в лес за грибами, слушали музыку в твоей комнате, и было полутемно... И как катались на катере по вашему чудному озеру, и ты укрывал меня от ветра. Вот было хорошо! Знаешь, о чем я тогда подумала? Ты только не смейся, а все же скажу. Я думала: вот бы всю жизнь ты укрывал меня от ветра. Глупая я, да? Ну и пусть!

Пишу тебе, сидя у окна. На улице сильный ветер, сильный-сильный. И вдруг окно распахнулось, грохот, звон... Я напугалась, даже руки стали холодными.

Федя, а ты любишь, когда сильный ветер, быть на улице? Я — очень. Но сегодняшний ветер очень уж сильный, не нужен такой, огромные ветки летят с деревьев.

Пиши мне!

Катя.

Письмо пятнадцатое

Федька!

Ты такой хороший. И вообще все, все хорошие.

Федя, я не приеду. Так хочет мама. Она хочет, хочет. Никогда больше не приеду. Лучше я не буду писать, сил нет.

Прости.

Письмо шестнадцатое

Федька!

Сделай так, чтобы мы увиделись.

Приезжай сам.

Письмо семнадцатое

Федя, извини, сморозила чепуху. Ну как ты приедешь? Такой же школьник, как я. Ну ладно, заработаешь, но где будешь жить? У нас же, конечно, нельзя!

Федя!

Давай договоримся на следующий год поступать вместе? Давай? Только не пиши, в какой город — вдруг мама читает твои письма. Узнает и не разрешит мне туда ехать. Позже договоримся.

Давай переждем еще год?

Люди выдерживали и не такую разлуку.

Если ты не согласен — можешь и не писать.

Катя.

Письмо восемнадцатое

Федя!

Ты для меня как прекрасный цветок на обрыве. Я стою внизу, задрав голову, и смотрю на этот цветок. И так хочется его иметь, но обрыв высоченный и крутой — достать невозможно. И так прекрасен этот цветок, что никак не уйдешь, а уйдешь, так вернешься.

Вот и ты, Федя, такой же прекрасный и невозможный для меня.

Катя.

Письмо девятнадцатое

Федя!

Я так боялась, что ты больше не напишешь никогда. Спасибо тебе, ты славный.

У нас растет много клевера. Ты знаешь — у него всегда три листочка. И очень редко попадается клеверок с четырьмя. Говорят, кто такой клевер найдет, тот счастливый.

Я нашла такой лист и посылаю тебе. И ты его не теряй, ладно? Береги его. Я очень хочу, чтобы ты был счастливый.

Катя.

Письмо двадцатое

Теперь я, так сказать, в гостях у папы. Никаких родственных чувств. Мои родители развелись, когда я была совсем маленькая.

Почему-то мне жалко маму. Моя мама красавица, а отец внешне напоминает лягушку. Но он хороший.

У него двое детей — мальчишки, рыжие и скучнейшие. А может, зря я на них так. Все-таки братья в какой-то мере. Может, и интересные, просто я их не знаю.

Живем на даче, в саду. Отец очень обрадовался моему приезду. Но он чувствует передо мной неловко. Я тоже. Ну о чем мне с ним говорить? Поговорили о школе, об учителях, отметках и даже о будущем. Он советует мне поступать в медицинский.

А теперь? Что теперь? Ходить около него боком — потому что мне неприятно, как он на меня изучающе смотрит. Получать подарки, которые он приносит мне каждый день. Нет, не хочу!

Хочу домой, хочу отсюда, хочу к вам! К тебе, Федька!

Но мы еще не можем самостоятельно решать.

Пиши.

Катя.

ГОД ТРЕТИЙ — ДЕСЯТЫЙ КЛАСС

Письмо двадцать первое

Федя!

Каникулы прошли так себе. Читала кое-что. А потом я попала в больницу. Дурацкая штука случилась — аппендицит. Как раз первое сентября начался приступ. И день рождения встретила в больнице. Пропустила две недели занятий. Вот уже четыре дня в школе, а все не могу войти в колею. Без меня многое прошли, и догнать не могу, да и желания нет. Как за уроки, так спать тянет. И как излечиться — не знаю. Настроение жуткое, и в этом виновата больница.

Странно, но когда здоров, кажется, что больных людей нет вообще. Не думаешь как-то об их существовании. А на самом деле сколько в мире нездоровых! И всякая же зараза цепляется на бедного человека.

Я уже выздоравливала, мне разрешили гулять в больничном саду. Осень у нас прекрасна — солнечная и сухая. Всегда такая. Листья шорк, шорк, тихо так падают. Устилают дорожки в саду. А вокруг — больные, много больных.

Каждый день я встречала в саду одного человека. В теплый осенний день он был одет в распахнутый овчинный полушубок и шапку-ушанку. Сначала я поразилась его одежде не по сезону. Потом мелькнула мысль — да он же пьяный, шатается. Потом в глаза бросился желтый цвет лица. А еще через несколько мгновений я увидела, что к поясу человека привязана стеклянная бутылка и в нее по трубке стекает капля за каплей. Ох, как было страшно! Он все время поддерживал эту бутылочку.

Я чуть не убежала из этого сада, когда поняла, как безнадежно болен этот человек. Ведь ему уже ничем не поможешь, у него рак. И весь этот красивейший сад он видел, может быть, последние свои дни. Это ужасно, ужасно, и чувствуешь себя виноватой за то, что ты выздоравливаешь, а он уже никогда не поправится.

Девчонки удивляются, почему я все время хмурая, а как после этого радоваться?

Катя.

Письмо двадцать второе

Федя, как мне сейчас плохо. Не с кем поговорить. Нет рядом со мной человека, который удовлетворял бы во всем. Девчонки? Они меня только раздражают своей болтовней. Появился бы у меня здесь такой друг, вот бы было счастье. Ты, Федя, конечно, такой, но я уже начала сомневаться в твоем существовании. Мне иногда кажется, что если бы не твои письма, то я бы тебя забыла.

Извини, Федя, это, наверно, хандра.

Кроме девчонок, есть у меня и знакомые парни. Я знакомлюсь с ними, Федя, ведь букой быть некрасиво. И бывает, что кажется: вот он, друг, вот твое настоящее счастье. Но проходит какое-то время и опять видишь, что это не то, чужое и холодное «не то». До того противно делается, что хочется сказать тому человеку, в котором разочаровалась: пошел вон отсюда. Сдерживаешься, не хочешь обидеть. Приходят для того, чтобы отдать должное: «Вот я пришел, довольна? Я и вчера к тебе такой же приходил — не изменился».

Очень нужны их визиты. Отвернешься и молчишь, и друг уйдет, хлопнув дверью. А ты остаешься. Одна.

Федька, разве я не могу быть счастливой? Разве я многого требую? Всего лишь чуточку тепла, пусть тепла, не надо жарче. А то хочется куда-нибудь деться, просто исчезнуть.

В больнице была, как на другой планете. Думала: вот бы уехать, забыть все, начать жить сначала, чтобы было все другое, новое.

Как я хочу к вам! Мне кажется, если бы я пособирала грибы в вашем лесу, стало бы гораздо легче. Хочу на озеро, на час, всего на час! Это же немного, так немного!

Кажется, все сразу бы изменилось.

Что такое со мной?

Кто ответит?

Иногда чудится, что не живешь, а гостишь где-то. Какой-то длиннющий визит у тебя. Опять визит. Какой визит? На Землю?

Катя.

Письмо двадцать третье

Федька!

Ты пишешь, что большенький стал, но внутренне не изменился.

Неправда. Я по письмам замечаю, что уже нет того Феди с нерешительными глазами. А есть совсем другой, который не имеет никакого сходства с тем, далеким. Разве только глазами? Они, наверно, стали смелые. Да и не только глаза.

Скоро Новый год. И последние в жизни школьные каникулы.

Попросилась к вам, но мама сказала, что пора думать о выпускных экзаменах, а не о поездках.

Потерпим до лета. Совсем немного осталось, правда?

Катя.

Письмо двадцать четвертое

Федя!

Я не люблю этого слова. Ты понимаешь, какое я имею в виду. Я не могу его любить. Оттого наверно, что его говорит каждый. Девчонки в классе даже по нескольку раз о разных людях: «Он меня любил», «Я его любила» и так далее. И так затаскали это священное слово, что оно превратилось в обыкновенное, будничное и даже неприятное. Может ты и чувствуешь то, что написал. Но зачем об этом говорить? Зачем признаваться? Все и так понятно. Это же чудное, милое слово, а его разбрасывают в разные стороны, словно камни в собак и кошек.

Его произносят, Федя, когда молчать невозможно, когда руки неспокойны, когда страшное волнение в руках, глазах, сердце.

Есть ли у тебя такое волнение, Федя? Есть ли?

Катя.

Письмо двадцать пятое

Извини, Федя, но я не смогу приехать к вам поступать. Вообще не смогу к вам приехать.

Больше нечего сказать, слов не хватает.

Покатилось все в одну секундочку, да с крутой горочки, да так и катится. Остановится, да когда?

Может, когда-нибудь сам приедешь, и встретимся (если замуж не выйду — шучу).

Со мной ничего страшного, просто не поступаю никуда, и все! Ну подумаешь, ерунда. Почему всем надо учиться?

Катя.

Письмо двадцать шестое

Федька, от тебя сумасшедшее письмо. «Три года ждал», и всякое такое.

Но ведь и я три года, Федя!

Да нет, я не оправдываюсь.

Понимаешь, как тебе объяснить... Ты хороший, милый такой.

Ты же умница, понимаешь, что я не для тебя, не такая девушка тебе нужна.

Ты для меня по-прежнему самый лучший друг.

Хочешь знать, что у меня было к тебе в прошлом году и раньше? Федя, я же просила: давай не будем больше произносить этого слова. Да-да, то, что это слово означает, было у меня к тебе, было еще совсем недавно, а может, есть и сейчас.

Просто ты далеко, а Гриша рядом.

Ах, я ничего еще не знаю!

Дурная еще!

Катя.

Письмо двадцать седьмое

Федька!

Я приехала к вам, а ты на экзаменах в Ленинграде. Я тебя честно хотела дождаться, но не получилось. Дело в том, что Гриша написал, что если я не приеду, он с собой что-нибудь сделает. Я испугалась, села на поезд, а он полз так медленно, так медленно, казалось, если я выскочу из вагона и побегу, то обгоню его.

Почему ты уехал, почему?

Да, я не предупредила, но я сама не знала, что приеду. Не могла в себе разобраться. И тебя хотела видеть, и Гришу. Гриша, и ты... Мама от всех советов отказалась «Ты взрослая, решай сама». И билет на самолёт в ваш город был, и я прилетела, а тебя нет.

Федька, милый, прости!

Письмо двадцать восьмое

Феденька!

Мы с Гришей поженились и у нас следующим летом будет малышонок. Так быстро все получилось. Я и опомниться не успела — уже жена.

Всего тебе самого счастливого! Не сердись.

Катя.

Письмо двадцать девятое

Полевая почта 8090, Федору Микову

Федя!

Давно хотела написать, а как взялась, так руки дрожат.

Живем мы так, потихонечку. Машенька растет, ей скоро годик. Да, у меня девочка, Машенька, хорошенькая такая, глазки синие, губы как будто мои, остальное — не понять еще. Уже ходит, но ничегошеньки не говорит.

Федя!

Очень хочется знать, как ты. Наверно, скоро вернешься домой. Я живу так себе. Конечно, я не одна, но друзей здесь у меня

нет. Гриша, если удастся получить почту, а там что-нибудь от тебя, во-первых, мне не покажет, во-вторых, будет дуться целый месяц.

Когда мне становится плохо, я вспоминаю ваш город. Синее озеро, лес.

А здесь все степь и степь и ни одного кустика живого. Некуда спрятаться. Везде люди, люди, а если нет никого, то степь. Ни гор, ни озера, ни леса.

Федя!

Когда вернешься домой, сделай так, чтоб я знала об этом.

Не могу больше писать.

Ах ладно, до свиданья. Голова совершенно пустая. Все же как давно не писала тебе.

Катя.

ЭПИЛОГ

Федор вернулся из армии, устроился на работу. Кате не писал. Зачем? Писать важное: что он все еще любит ее, ищет в незнакомых девушках ее черты, как и тот странный человек из ее писем. Ну а вдруг это письмо прочитает Григорий?

О неважном же и писать не стоит.

Сейчас ему тридцать лет. Он до сих пор не женат. Были у него женщины, но ни одна не оставила такого следа, как четырнадцатилетняя — в то время — Катя.

Не надо было уезжать ему в Ленинград после школы — думал иногда Федор. Ведь Катя приехала в их город, приехала из-за него. Надо было до последнего ждать. Встретились — и может, Катя не вернулась бы к неизвестно откуда свалившемуся Грише, а осталась бы с ним, с Федором, в его городе, на берегу озера, куда она так рвалась все три года.

В институт он все равно не поступил. А если б поступил? Разве не важнее института судьба?

Знать бы, где упасть, соломки б постелил... А может, после восьмого и после девятого классов надо было ехать к ней самому? Заработать денег и ехать. Родители были против — пусть. Пятнадцать и шестнадцать лет — не маленький, и пусть бы с ними даже поругался. Слишком они с Катей послушные были.

Как сделать так, чтобы люди, предназначенные друг другу судьбой, не совершали ошибок?

Тогда бы не было одиноких и несчастливых. И он не был бы одинок, и Катя не ощущала бы себя в пустыне — в степи и среди людей. А то, что они с Катей предназначались друг другу, в этом Федор не сомневался. Ведь ни у него не клеится жизнь, ни у Кати — из письма видно.

Нет, он ни в чем не винил любимую. Он выдержал испытание

временем, она — нет. Женщины — они слабее. Хорошо, что это произошло до того, как ему ехать в армию. В армии ее замужество было бы еще труднее пережить.

Итак, ему тридцать, тепла нигде нет, и кажется — жизнь уже прожита.

ПОСЛЕДНИЕ ЦВЕТЫ

Первое сентября на клумбах нашего города разрешается рвать цветы. Не потому, конечно, что день первый учебный и это разрешается, вроде бы, в честь него. Просто мы живем на Севере, и первое сентября лето кончается у нас не только по календарю. По ночам начинаются заморозки, и цветы вскоре все равно погибают.

Первое сентября на городские клумбы выходят женщины — работницы горзеленхоза. Они в измазанных оранжевых жилетах, каких-то несуразных черных полуботинках. На руках — большие тонкие рукавицы. Они выкапывают цветы руками в этих грубых рукавицах и небрежно, как какой-нибудь мусор, вроде щепок и палок, бросают их в деревянные ящики. Цветочные головки перемешиваются с цветочными корнями, брать цветы в руки уже неприятно, всё, они — мусор.

А женщины рыхлят землю для будущих, весенних, цветов.

Они не запрещают рвать цветы всем, кому хочется, для букетов.

По дороге в школу мы договорились, что после занятий пойдем на клумбы. Мы шли втроем — я, Влада Молодцова, Настя Рыбакова — мы с ней в одном подъезде живем, и наша гостья Марине.

Марине — армянка, живет в Ереване, а здесь в гостях у своей бабушки по маминой линии.

Ясное дело, первое сентября и в Ереване начинают учиться, но Марине билета на самолет не достала — спохватилась поздно. Теперь только через две недели в свой Ереван улетит. Ну ничего, пока с нами поучится, делов-то. Я вообще не прочь, чтобы она всегда с нами училась. Хорошая девчонка, за месяц я с ней здорово подружилась.

Конечно, Марине может эти дни и не учиться, да она сама хочет. А первое сентября, по-моему, усидеть дома вообще невозможно. День этот страшно особенный. В школу мчишься вприпрыжку, не то что в конце учебного года, тащишься на уроки, как на каторгу.

Мы с Настей были в школьной форме, которая за семь лет нам здорово надоела, а на Марине была черная юбочка и розовая кофта, которая здорово шла к ее черным волосам и упругим розовым щечкам.

Марине вообще-то красивенькая, и наши мальчишки были страшно разочарованы, что она оказалась не новенькой, а так сказать, временной слушательницей восьмого «а». Наверно, каждый приготовился в нее влюбиться. Как же, свои девчонки мальчишек не интересуют. Да ладно, мы тоже влюбляться в них не собираемся, знаем, как облупленных.

Наш класс Маренке жутко понравился. Дружные, мол. Когда она увидела, что Таня Макарова запросто села за один стол с Валеркой Вельсом, то удивилась.

— У вас, что, мальчик с девочкой могут сесть вместе?

— А чему ты удивляешься? Макарова с Вельсом дружат.

— Да если бы в нашем классе мальчик с девочкой по своему желанию сели...

— То что? Убили бы, что ли?

— Дразнить бы стали.

— Мы не маленькие — дразнить. Детство кончилось.

— Но ведь и мы большие. Но у нас девчонки даже разговаривать с мальчишками стесняются. А попробуй пригласи мальчишку потанцевать — засмеют.

— Ну и порядки. Мы на дискотеках только с мальчишками танцуем,— говорю я.— Только не с нашими. Да ну, наши дети совсем.

Мы разговаривали на торжественной линейке, которая проходила на школьном стадионе. Что-то говорили директор, учителя, шефы. Малышня внимала, разинув рты. А наш класс стоял в углу этой самой линейки, голоса сюда едва доносились — микрофонов-то не было. Ну и, понятное дело, мы болтали.

— Неужели со старшеклассниками?— Марине восхищенно смотрела на меня черными блестящими глазами.

— Ну.

— И не страшно?

Мне стало смешно, и я фыркнула так громко, что наша классная Тамара Ивановна, стоявшая неподалеку, поглядела на меня и на секунду нахмурила брови.

— Поразительно,— сказала Марине.

А чего такого? Это нормально. Я предложила Марине махнуть рукой на Ереван и переехать к нам. Жить она у бабушки сможет, учиться — у нас, делов-то. Но Марине не согласилась.

— Я бы, может, и переехала бы, но, понимаешь, у меня там условия другие. У нас двухэтажный дом, а у бабушки однокомнатная квартира. У нас там и свой сад.

Свой сад! Здорово! И не надо на клумбы бегать, раз своих цветов в саду полно.

Да нет, на клумбы ведь мы не из корысти ходим. Просто жалко, что цветы мусором становятся.

Ведь это же цветы! На них мы любуемся все лето. Их еще можно спасти на неделю, на две, а не бросать в ящики. Я бы на месте

рабочих в оранжевых жилетах делала бы крохотные такие букеты, кто хотел бы, тот и брал.

Обычно я три букета домой приношу. Для мамы, для бабушки старенькой и бабушки молодой. Старенькой — бабушкиной маме — уже под девяносто, а цветы ее все равно радуют.

Закончилась линейка.

Поднимались мы с Марине на третий этаж к нашему классу, и тут я увидела одного малыша. Он у стенки стоял. Кед у него развязался. Я хотела сказать, чтоб он его завязал, ведь споткнется и брякнется, смотрю, а он грустный-грустный. Глаза красные, заплаканные. Стоит бочком и стену ковыряет. Звездочка на школьной курточке, значит, второклассник или третьеклассник. Жалко мне его стало. Говорю Марине:

— Иди за Настей — не потеряешься,— и к малышу:

— Ты чего плакал?

Он тут же носом захлюпал, а потом жалобно так заверещал:

— Мои цветы Инна Николаевна выброси-ила, меня мама ругать бу-удет.

— Как это — выбросила?

— В у-урну.

— Почему? Может, ты их запачкал, может, упал?

— Не-ет, не упа-ал. Они кра-асивые.

Я пожала плечами и подумала, что, наверно, этот малыш принес в класс какие-нибудь бархатцы или ноготки — цветы для людей второстепенные.

Наш город — северный, я уже говорила. На клумбах растут цветы простые. Гладиолусы, георгины частники выращивают в теплицах. А перед первым сентябрем заламывают за них кошмарную цену.

Я давно сказала маме, что цветов в школу мне покупать не надо, потому что денег на цветы-аристократы у мамы нет, а покупать что-то вроде астр или ноготков мне не нужно. Я своими глазами видела букеты этих цветов в урне в каком-то классе. Тогда у меня все в душе перевернулось.

Ну конечно, я понимаю, учителям много цветов и не нужно, выберут букета три покрасивее, а другие выбрасывают. Пусть, но зачем на глазах детей-то?

Я смотрела на грустного малыша. Аккуратненький такой птенчик. Костюмчик отглажен. Светлые волосы такие прилизанные, словно их только что гладила ласковая мамина рука.

— Достаньте мне цветы, пожалуйста,— хлюпнул мальчик.— Я их обратно маме отнесу.

Меня рассмешило, что этот птенец меня на «вы» называет. Но что я, совсем уж, смеяться?

Пошла в его класс — перемена между линейкой и уроком еще не кончилась — и на глазах нарядной малышни стала рыться в проволочной урне. Это было нисколько не противно, потому что в ней были только цветы.

А на учительском столе в двух вазах и литровой банке красовались три букета гладиолусов. Таких роскошных, важных, что мне тошно стало. Ну точно напомаженные расфуфыренные аристократы. А в урне были преимущественно астры.

— Вон мой букет, в самом низе,— пропищал мой малыш.

Я стала дергать букет за торчавшие стебли, но он не поддавался. Ребятня за мной наблюдала. Я разозлилась и перевернула урну. Все цветы по букетикам на пол посыпались. Малышня налетела, каждый свой букетик схватил, к груди прижимает. И мой знакомый букет в руках держал, охорашивал. Симпатичный такой букетик, гладиолусы, только мелкие, цветы, как цыплята из своих гнездышек, выглядывали.

Звонок прозвенел.

Я хотела к своим бежать, но не успела. Дверь открылась и учительница второклашек явилась-не запылилась. В красном костюме, в красивых, с изогнутой оправой, очках. Я так и обмерла. Ребята — тоже.

Как будто сцена из «Ревизора». Застывшие малыши с цветами в руках, стоят вокруг меня, рты разинули, на учительницу испуганно глазеют. Вдруг снова велит цветы выкинуть. Скажет так — ведь выкинут, своими руками выкинут. А, глупые еще.

Смотрю, учительница красная стала, как ее костюм, на меня зло зыркнула и говорит своим цыпам:

— Дети, положите цветы на стол и садитесь так, как я вас рассадила. Разве не слышали, что звонок был?

И на меня опять зырк-зырк, а потом говорит каменным голосом:

— А ты иди в свой класс. Тебя сюда не звали.

И правда, чего я стою-то? Глянула еще раз на малыша своего, как он с неохотой букет на учительский стол положил, и вышла.

А шнурок у мальчишки остался развязанным! Я о нем забыла совсем.

Конечно, на урок опоздала. Тамара Ивановна говорит:

— Садись, Лада. В этом году первая опоздавшая — ты.

Прозвучало это неплохо. Таким тоном говорят обычно про всякие там успехи. Колька Кислов даже сострил:

— Записать этот факт в книгу рекордов Гиннеса.

Я села к Маренке за последний стол. Она меня тут же шепотом упрекнула:

— Бросила меня?

— Извини, нужно было,— шепнула я в ответ.

Вообще-то у нас не урок был, а классный час. Первое сентября — День знаний, а уроков нет никаких. Раньше первые в году уроки называли «уроками мира». Хотя говорили на них о чем угодно. А чего о мире много балабонить? Всем ясно, что война — страшное зло, которого не должно быть.

Классная окинула нас материнским взглядом, улыбнулась. Улыбка у нее чудная. Когда Тамара Ивановна улыбается, у нее по-

являются две ямочки на щеках. На месте нашей классной я бы всегда ходила с улыбкой, вертела бы головой во все стороны, чтоб все видели.

— Надеюсь, ребята, вы хорошо отдохнули,— начала классная.— Этот год у вас очень ответственный. Каждый должен впервые в жизни определить собственную судьбу — кто в девятый пойдет, кто в училище. Хочу сразу предупредить — с посредственными отметками в девятом классе делать нечего. Кому-то придется уйти.

Все стали задумчивые. Для себя я уже решила, что в девятый пойду, но все же после последней фразы классной и мне стало не по себе. Значит, последний год учимся в привычном составе.

— Ну хорошо. А теперь, как у нас повелось, давайте вспомним о лете. Кто хочет рассказать о каникулах?

«Как у нас повелось». Это не у нас, а у нее повелось — о лете расспрашивать. Уже три года или четыре. Раньше, ну еще два года назад, все как ненормальные руки трясли — хотели рассказывать. Даже те, кто никуда не ездил, делился тем, что видел какую-нибудь козявку или лягушку и как он здорово в речке плескался.

А сейчас руки никто не поднимал.

Я знала, что многие одноклассники побывали в интереснейших местах, куда мне ни за что не попасть. Мои родители в этом отношении какие-то чокнутые. Никуда не желают ездить. Север им мил. Папа свой отпуск на болоте как кулик проводит, собирает, видите ли, для семьи клюкву. Мама на бабушкином огороде возится (у бабушки свой дом), говорит: «Ох, дочка, некогда мне по морям разъезжаться, на кого я огород брошу?» Я ее все на море зову. Четырнадцать лет прожила, а моря не видела.

Димка Бушуев целый месяц жил на берегу Балтийского моря. Он рассказывал, что каждый вечер на закате солнца из прибрежного леса выходил купаться лось. Представляю картину: море, песчаные дюны, заходящее солнце, и сохатый в волнах.

Толя Афонин в Ново-Афонских пещерах ползал. Теперь всем объясняет, чем сталактит отличается от сталагмита.

Руки никто так и не поднял.

Тамара Ивановна подождала немного, а потом вызвала Витю Копылова.

А Витя!

Тихий, как шишка под сосной. Из него слова не вытянешь даже в том случае, если он в другой галактике побывает.

А когда он к доске выходит, на него вообще какой-то столбняк нападает.

— Ты ездил куда-нибудь?— спрашивает классная.

Витя кивнул.

— Куда?

— В деревню.

— К бабушке,— подсказал с места Колька Кислов.

Это было правильно, и Витя не стал повторяться. Посмотрел на

классную так, словно он все уже рассказал и ему с полным основанием можно садиться на место.

— Хорошо отдохнул?— интересуется Тамара Ивановна.

— Хорошо,— согласился Витя.

Представляю, как он отдохнул. Витек — трудяга, каких поискать. Работал, наверно, у бабушки, сено заготавливал, крышу чинил, мало ли в деревне работы.

Не надо было его вызывать.

Тамара Ивановна поняла, посадила Копылова.

Тут руку протянул Кислов — мальчишки его «Кисел» зовут.

— Пожалуйста, Николай, слушаем тебя,— обрадовалась Тамара Ивановна.

— С места можно?

— Можно.

Кисел поднялся, покачался с ноги на ногу и выдал:

— Тамара Ивановна, я летом женился.

Все так и грохнули. Засмеялся и сам Кисел. Его лицо мгновенно покраснело, он сел и закрылся рукой. Плечи его тряслись от смеха. Сосед по парте Вовка Яблочкин хлопал его по трясущемуся плечу и повторял:

— Поздравляю, Кисел, поздравляю с женитьбой!

Минут пять мы не могли успокоиться — хохотали. А Тамара Ивановна отругала Кольку за несерьезность и опять за свое:

— Неужели ни у кого не было ничего примечательного? Ребята?

Тамара Ивановна хорошая учительница. Но почему-то не понимает, что мы выросли и у доски о каникулах рассказывать — это смешно. Как будто бы урок отвечаешь. Вот если бы в тесном кругу, у костра да с гитарой...

Выручила всех Лена Подорова. Она два месяца лечилась в санатории. Поведала о том, как они там чуть не умерли с тоски и каждый день ходили к источнику пить минеральную водичку. А вокруг были красивые горы — единственное их утешение.

Тут и звонок прозвенел.

В первый день уроков больше нет, все по домам разошлись. Мы наскоро перекусили и на клумбы отправились. Настя полиэтиленовую сумку взяла, мы с Маренкой с пустыми руками. Что я, три букета без сумки не утащу?

День был молодец — солнечный и теплый. Осенью такие дни у нас — страшная редкость. Это, наверное, специально для Марине, чтоб она не очень скучала по своему солнечному Еревану.

На центральной площади города было уже полно девчонок-пионерок. Мы здесь были самые старшие, не считая, конечно, работниц.

Нарвали каждая по букету головастых оранжевых бархатцев, и тут меня Настя в бок толкает:

— Смотри, Кузяка идет.

— Где?

— Да вон, с сумкой дурацкой.

И правда, по направлению к нам по тротуару шла наша бывшая учительница географии Наталья Федоровна Кузякина. Над такой фамилией трудно не позубоскалить. В этом году она уже не работает, вышла на пенсию. Как она сама на последнем уроке выразилась: «Отмучилась».

Если честно, нам Наталья Федоровна не нравилась. Рассказывала только то, что в учебнике, да так монотонно. Разумеется, мы не слушали, бузили. Некоторые мальчишки запросто разгуливали по классу. А она указкой по столу тюкает и вяло так:

— А еще — советские школьники!

Как будто американским или китайским там школьникам можно шуметь и разгуливать по классу, а советским нельзя. Советские должны зевать и терпеть, если им скучно. В школе Наталью Федоровну не любили, Кузякой звали.

Сейчас Кузяка вперевалочку шла по тротуару с тяжелой зеленой сумкой в руке.

— Слушай, Насть,— говорю,— а давай ей цветов подарим? Наверно, в школе ей никто цветов не дарил.

— Ясно, не дарил.

— Давай?

Настя недовольную рожицу скорчила, а потом согласилась.

Маренке говорим:

— Подожди, мы сейчас,— и географичке навстречу:

— Наталья Федоровна, поздравляем вас с праздником!

— С первым сентября,— добавила Настя, опасаясь, что Кузяка не поймет.

Кузяка сначала от нас отпрянула, а потом заулыбалась:

— Здравствуйте, девочки, здравствуйте. Вас тоже с праздником.

— Это вам цветы,— Настя подала ей аккуратный — головка к головке — букет бархатцев.

— Ой, девочки!

На уроках Наталья Федоровна никогда так не улыбалась. Сейчас она просто цвела. Неуклюже взяла букет — он был большой — мой и Настин вместе, еле умещался в руке.

— Спасибо!

— Пожалуйста. Вам помочь?— спросила я, кивнув на сумку.

— Нет, нет, что вы, я сама. Спасибо, Настя, Лада.

Вот это да! Она наши имена знала! А в школе все по фамилии, по фамилии.

Нам почему-то хорошо стало. Легко так. И цветы захотелось дарить всем подряд, даже незнакомым. И Маренка загорелась: давайте, давайте дарить!

Набрали мы цветов полную Настину сумку и пошли к универмагу. Там всегда страшно много людей, даже в рабочее время. Стоим у выхода, каждому, кто выходит, предлагаем:

— Хотите цветов? Хотите?

А Марине наготове три крупных бархатца держит.

Но почему-то никто у нас цветов не брал, а некоторые смотрели на нас страшно неодобрительно.

Наконец, парень какой-то клюнул. Сгреб из рук Марине все три бархатца и бумажник вытаскивает:

— Сколько, девчонки, должен?

Тут какая-то тетка толстая подскочила и говорит:

— И не стыдно вам, таким молоденьким, торговать? Ведь вы эти цветы не выращивали!

Только после этого мы поняли, почему у нас отказывались цветы брать.

— Да мы же не продаем!— говорит Марине. У нее милый, мягкий такой акцент. Она снова взяла три цветка, которые Настя достала из сумки, и протянула толстухе.

— Мы просто дарим. Возьмите.

Тетка эта толстая цапнула наши цветы, головой покачала и с улыбочкой говорит прохожим, которые около нас столпились:

— В первый раз вижу, чтобы черные что-то давали бесплатно.— И пошла.

Сначала я не поняла, про каких таких «черных» она болтает. Потом глянула на Марине, а она с лица сошла. Настя ей снова три цветка протягивает, а Маренка и не видит. Лицо у нее такое... такое... потерянное, что ли, она вот-вот готова была зареветь.

И до меня дошло.

Толстуха уже по лестнице сползла. Зад у нее был обтянут черным платьем в горошек, колыхался. Я вниз бросилась, обежала зад, остановилась перед теткой и говорю:

— Вы почему людей оскорбляете? Что вам девочка сделала?

Толстуха растерялась.

— Кого я оскорбляю? Ты, что, спятила? Грубиянка!

— Почему вы девочку черной назвали?— шиплю я, чтоб Марине не услыхала.— Что она вам сделала?

Любопытные, конечно, тут как тут. Рты пораззявили.

— Что ты ко мне пристала?— заорала толстуха.— Все их на базаре черными называют, этих грузин-армяшек!

— Извинитесь перед девочкой! Сейчас же!— шиплю я.— А то я вас... я вас...— и никак не могу подыскать ей подходящую кару. И тут же понимаю, что ничего не смогу с ней сделать. Ничего. Она может и Марине, и меня, и кого хочешь обидеть, а я с ней ничего не смогу сделать.

Зло меня разобрало. Взяла да и три наших цветка из толстухиных рук вырвала. Она что-то вслед каркала, да я не слушала.

Побежала наверх, к девчонкам. Марине сидела на верхней ступеньке и плакала. Узенькие ее плечи вздрагивали. Настя стояла рядом и мышиным голоском ее успокаивала:

— Марин, ну не плачь. Ну Марин...

Взяла я сумку и Марине поднимаю:

— Пошли. На дур всяких внимание обращать. Пошли.

Поплелись по улице. Сумку я за ручку тащу и чувствую, из нее цветы вываливаются. А мне нисколько не жалко. Плевать.

Какая-то девочка маленькая передо мной очутилась. Улыбается щербатым ртом и протягивает мне ворох наших дурацких бархатцев:

— Вы потеряли.

— Возьми себе,— сердито отвечаю девчонке и гляжу на Марине. Она этой девочке печально так улыбается.

— Ой что вы, зачем,— говорит девчонка и вижу, что ей очень хочется забрать цветы, да она стесняется.

— Бери,— говорит Марине своим милым акцентом,— цветы хорошие.

Глаза у нее красные, заплаканные.

— Спасибо!— это девчонка крикнула уже на ходу, обернувшись.

Направились мы было домой, но Марине сказала, что не хочет в таком состоянии бабушке показываться, и мы двинулись к парку.

Клумбы в парке были еще нетропутые. Высокий белый и желтый львиный зев словно тянулся на цыпочках. С любопытством глядели на нас анютины глазки с забавными личиками.

Но цветы нас уже не интересовали.

Бывает же так. Все хорошо и даже прекрасно. Но вот сказал кто-то гадость и надолго испортил настроение. А Марине та тетка может на всю жизнь настроение испортила. У нее и так комплекс. Она как приехала, сначала здорово нас сторонилась. Мы сами ее к себе приручили. Один раз во дворе просто так заговорили, другой — на пляж позвали. А потом она призналась:

— Знаешь, Лада, а я думала, здесь со мной никто общаться не будет.

— Почему?— удивилась я.

— Потому что я армянка, а вы русские.

Ох ей тогда от меня досталось!

Во-первых, ну и что, что русские? Во-вторых, не все русские. Я, например, коми. И никакой трагедии в этом не вижу, делов-то. И вообще — при чем тут национальность? Как будто не все люди равны.

Ну эта толстая тетка. Просто дрянь.

В парке было полно ребят. Первое сентября у нас всех школьников бесплатно катают на аттракционах. Когда Марине узнала об этом, она удивилась, но не обрадовалась. И кататься ей ни на чем не хотелось, даже бесплатно. Еле-еле уговорили ее на чертово колесо.

Парк стоит на холме. И колесо обзора, «чертово», не маленькое. Сверху нам открылась изумительная картина: извилистые ленты двух рек — Вычегды слева и Сысолы справа. Сысола незаметно, скромно вливается в Вычегду, а уж та широка, хвастлива, желтыми пляжами щеголяет. За рекой зеленые — трава у нас всегда зеле-

ная — луга и лес. Много леса. Вообще-то его у нас страшно вырубают, но около города леса еще море.

И город с его большими и маленькими, каменными и деревянными домами, был как на ладони.

— Красиво у вас,— задумчиво сказала Марине.

— Красивее, чем у вас?— спросила Настя.

— Нет, но это совсем, совсем другое. У нас кругом горы. У нас тоже замечательно. Просто нельзя сравнивать.

Потом мы с Настей покатались еще на «Сюрпризе» — это такая карусель, где центробежная сила буквально приклеивает всех к бокам — на них такие специальные щитки в рост человека, буквально вдавливаешься в свой щиток. Я думаю, на подобных «сюрпризах» космонавтов и тренируют.

А Марине в это время сидела на скамье с нашими цветами.

Выходим мы с аттракциона, друг на друга натыкаемся — головокружение страшное. А навстречу наши мальчишки — Колька Кислов и Димка Вахрушев.

— О, девчонки, привет! Пошли еще покатаемся?

Настя ответила, что не может, а я согласилась.

И напрасно. Плохо мне стало. Мальчишки страшно заботливо довели меня до скамейки, где Марине с Настей сидели. Я села между девчонками, а парни примостились с краев и каждую секунду спрашивали:

— Прошло? Прошло?

Наконец, полегчало. Мы поднялись и побрели по аллее.

Уже стемнело. Ребят в парке стало значительно меньше. Зажглись фонари. Они были в ветках с листвой. А листья золотые. Это было страшно красиво. Недели через две вся листва опадет, а пока была просто сказка.

— Ой, девочки, я цветы забыла!— сказала Марине и остановилась.

— Да ну их.— Невиноватые ни в чем бархатцы перестали мне нравиться. Из-за толстухи. Принесу, скажем, я их домой, мама поставит в вазу, а я буду смотреть и вспоминать эту тетку и как плакала Марине. Не хочу.

— А сумка?— Марине на Настю страшно виноватыми глазами смотрит.

— Да ну эту сумку,— машет рукой Настя.— У нас дома таких миллион.

И мы побрели дальше.

Было здорово гулять с мальчишками. Только очень хотелось есть. Ведь был уже вечер, а мы днем по-настоящему не обедали. В кармане куртки я все время нащупывала две пятнадцатикопеечные монеты — весь мой капитал. На него можно было купить целый батон. Но при мальчишках было стыдно признаваться, что есть хочется.

Первая не выдержала Настя. Заныла, что сейчас умрет с голода.

— У меня тридцать копеек!— радостно воскликнула я, как будто только этого и ждала.

— У меня двадцать,— Настя протянула свою монету.

— У меня ноль целых ноль десятых,— высказался Димка.

Самым богатым оказался Кисел. Он выложил рубль.

Мы, конечно, тут же вспомнили его шутку на уроке.

— Жена дала?— спросила Настя, засмеявшись.— На завтрак, обед и ужин?

— Ага.

Мы зашли в булочную и купили сока и буханку хлеба. Сок выпили в магазине, а хлеб разломали и ели на улице. И всё к Киселу приставали. Что у него за жена и почему он без нее гуляет при такой чудной погоде. Колька отвечал, что держит ее в черном теле, ежовых рукавицах и еще в кулаке.

— Я строгий. Она у меня, как вы, по улицам шляться не будет.

— Нет, я понимаю, ты пошутил на уроке,— говорит Настя.— Но почему ТАК пошутил?

Кольке наконец надоело играть роль мужа.

— Да откуда я знаю — почему? Как пошутилось, так и пошутил. Все такие кислые сидели, Витёк у доски чуть не умер, ну я и ляпнул. Что классная, как дятел: где были да что видели? А если ничего не видели? Если все лето вкалывали?

— Ты вкалывал?— спросила Марине. Это было первое, что она спросила. Мальчишек она страшно боялась. Она это словечко так старательно выговорила: «вка-лы-вал».

— Ну.

— Можно узнать — где?

— Можно. В кооперативе.

— И много заработал?— спрашивает Настя.

— Триста рублей.

— Ого!— воскликнули мы.

— В таком случае на общую бочку ты выложил мало,— сказал Димка.— Рублем не отделаешься.

— А у меня уже нет ничего,— засмеялся Кисел.— Все, как видите, на «мине».

Да, Кисел был одет как с картинки журнала «Бурда Моден». Брюки с тысячами карманов и клепок, такая же куртка на молниях. Не в школьной форме он выглядел здорово. Я подумала, что он вообще-то ничего. И влюбиться можно.

— А я месяц почту разносил,— сознался Димка.— Только всю деньгу предкам отдал.

— А я, мальчишки,— Настя вперед выступает, словно нас с Марине и нет вовсе,— я, мальчишки, пошла в детский сад нянечкой устраиваться, у заведующей спрашиваю, какая у меня будет зарплата. Так она, представляете: как тебе не стыдно спрашивать про деньги.

— Как будто они сами за бесплатно работают,— засмеялся Кисел,— взрослые все притворщики.

— Ну. Я сразу ушла,— сказала Настя.— Тем моя работа и кончилась.

— А ты где-нибудь работала?— спрашивает Кисел и в прищур на Марине смотрит.

Марине вообще-то приободрилась. Выглядела уже не печальной, только улыбалась редко. Скромно ответила Коле:

— Нет, мне родители работать не разрешают.

— А если деньги нужны?— спрашивает Кисел.

— Мне дадут.

— А мне так свои собственные хочется иметь. Захотел и оделся как тебе, а не родителям нравится.

Мы остановились у киоска «Союзпечати». На задней стенке в нем тускло мерцала электрическая лампочка, в которой выделялся яркий вольфрамовый стерженек. Стол перед «фасадным» стеклом киоска был закрыт газетами. Так что рассмотреть ничего было невозможно. Мы и не пытались рассматривать. Просто шли-шли да и остановились у киоска.

И тут он, ну киоск то есть, совершенно неожиданно завыл, а на задней стенке рядом с тусклой желтой замигало еще несколько красных лампочек.

— Бежим!— крикнул Кисел.

Мальчишки схватили нас за руки, и мы бросились бежать, куда глаза глядят. Я так и не поняла, что случилось. Стояли-стояли, ничего не делали. И вдруг... Если честно, то я здорово струхнула.

Пробежали мы, наверно, целый квартал. Остановились, еле дышим. Марине испуганно спрашивает:

— Что это было, мальчики?— и смотрит то на Кольку, то на Димку огромными блестящими глазами.

Колька уже смеется.

— Это сигнализация. Что, струсили?

— А чего она?— спрашиваю.— Ведь мы ничего не делали.

— Вот то-то и оно. Я только чуть-чуть стекло тронул.— И Кисел объяснил, как он дотронулся до стекла. Там в киоске какой-то календарь висел с кошкой, и он хотел рассмотреть его получше, приложил ко лбу руку козырьком и посмотрел вовнутрь. А сигнализация сработала.— Дурная,— закончил он.

— Руки бы оборвать тому, кто ее так присобачил,— добавил Димка.— А то ни за что в милицию угодишь.

И тут мимо нас промчался милицейский «рафик» с синей мигалкой наверху.

— Вот — пожалуйста,— засмеялся Кисел.— Леди и джентельмены, карета за вами.

Мне не по себе стало. Я даже поежилась, представив, как нас забирает милиция.

И тут Колька снова рассмеялся, прикрыв рот рукой. У него зубы спереди желтые, не знаю отчего, наверно, курит много, при

нас штук пятнадцать сигарет искурил. И зубы свои всегда рукой прикрывает, если смеется. За ним расхохотался Димка. Потом Настя. Потом я. Вот и Маренка начала улыбаться и тоненько подхихикивать. Смеялись мы так же долго, как в классе, после Колькиной шутки. Может, выгоняли из себя страх.

Наконец, Марине сквозь смех говорит:

— Ой, ребята, мне прямо срочно надо домой. Бабушка там прямо с ума сходит.

— А мне-то вле-етит! — протянула Настя.— Побежали домой!

И они страшно заторопились, почти что побежали в сторону дома. Я давай их успокаивать. В одном подъезде, мол, живем, выяснят, что мы все вместе, втроем, значит, ничего не случится.

Мальчишки за нами мчатся — провожают.

— Жалко все-таки без цветов возвращаться,— впопыхах говорит Настя.

— Без каких цветов? — спрашивает Кисел.— Которые в парке забыли?

— Ага,— жалобно говорит Настя.— Каждое первое сентября рвем, а сегодня... Мамаша бы не так рассердилась, если бы я с цветами явилась.

Я получше объяснила мальчишкам, о каких цветах речь.

— Ну! — сказал Димка.— Чепуха! Раз так, мы их вам в два счёта нарвем!

Мы как раз проходили мимо горисполкома. Димка пошел на клумбу перед красивым зданием и стал рвать красные и желтые цветы, названий которых я не знаю.

Кисел стал ему помогать. Ну и мы не смотрели. Рвали цветы, страшно торопясь. Как назло, стебли были гибкие и плохо отрывались.

И тут около нас остановилась машина. С разгона — у нее даже зад немного вильнулся.

Это был милицейский «рафик». Может, тот самый, что недавно мимо нас проезжал. Только мигалка уже молчала.

— Удираем! — шепнул Кисел, но мы с девчонками не тронулись с места. Зачем удирать-то? Ничего плохого не делали. Удирать — еще не так поймут.

К нам подошли два милиционера, третий остался за рулем.

Приблизились они, вроде, спокойно. Но тут один совершенно неожиданно схватил Кисела за руку. Схватил и спрашивает:

— Чем, молодые люди, занимаемся?

— Ничем,— ответил Колька и попробовал освободить руку. Но человек держал его крепко.

— Сегодня первое сентября,— сказала я этому мильтону не очень-то дружелюбно.— Мы рвем цветы, потому что первое сентября — можно.

— Кто ж вам такое сказал? — ухмыльнулся милиционер. Он был молодой, с усиками, страшно симпатичный. Но он не верил нам, не видно, что ли?

— Мы всегда рвем цветы первое сентября,— жалобно сказала Настя.— На площади. Честное слово!

— И милиция никогда не цеплялась,— хмуро добавила я.

— Ты об этом слыхал? — спросил первый милиционер второго.— Цветы с клумб, оказывается, рвать можно!

— Сочиняют,— ответил второй. И нам: — Знаете, сколько времени?

Я еще недавно смотрела на часы, сказала, что всего-навсего одиннадцать.

— Вот-вот. А школьникам полагается гулять только до девяти. Ведь вы школьники?

— Мы люди,— буркнул Кисел. — Отпустите, нам девушек проводить надо.

— Нет уж, поедете с нами,— сказал первый, с усиками.

Я просто обмерла. Ехать в милицию! А что дома будет?

— Дома беспокоятся,— пропищала Настя.

— А садитесь в машину. [illegible].

Мы б, конечно, могли и убежать. Но Кисел — его держали, как в клещах. И потом я как представила, что во все лопатки в платье бегу — не по себе стало. Не просто бегу — удираю. От кого? От чего? Почему?

Мы ничего не делали, чтоб удирать.

Мрачные, один за другим, мы полезли в машину. Сорванные цветы оставили лежать на клумбе, но первый милиционер вернулся и забрал их с собой. Наверно, как вещественное доказательство.

ДВОЙКА ПО ПОВЕДЕНИЮ

— Вот она! Вот Кодапева!

Мальчишки разом отлипли от стен и бросились на Таню. Они вырвали и бросили под ноги портфель, окружили ее тесным кольцом и так повели к мужскому туалету. Они улюлюкали, кричали и свистели. Валерка Приходнов дергал за косу по-подлому, накручивая ее на руку.

Все было непонятно и страшно, словно по ошибке Таня попала в страну врагов и они сейчас расправятся с ней, расправятся дико и стыдно.

Таня пыталась вырваться, но ей заломили руки и втолкнули в туалет.

Здесь ее ждали мальчишки из параллельных шестых классов, все вместе они прижали Таню к стене.

— Дураки, пустите, что я вам сделала?

Приходнов зло расхохотался ей в лицо и крикнул:

— Соловьева! Давайте сюда Соловьева!

Таня сразу все поняла. Сразу вспомнился вчерашний вечер. И снег, и ледяная горка. И Приходнов. И то, как он понравился вчера Тане. То, что он делал сейчас, было так не похоже на представление о нем.

Мальчишки приволокли Соловьева, он плакал. Они толкнули его к Тане, и Приходнов приказал:

— Целуйтесь!

Таня еще сильнее вжалась в стенку, а Соловьев, маленький, красный от рева, повернулся и замолотил кулачками по голове ближнего шестиклассника. Мальчишки повернули его обратно и снова бросили на Таню.

— Целуй ее!— скомандовал Приходнов.— Она тебя любит! Целуй быстро!

Стало напряженно-тихо, и в этой тишине прозвучал спасительный звонок.

Все бросились по классам.

Приходнов стукнул Таню и Соловьева лбами и побежал тоже. Он бежал последним, и Таня собрав обиду в кулачки, догнала его, замолотила по спине. А когда он повернул к ней лицо с узкими зелеными глазами, она изо всех сил провела ногтями по его желтым веснушкам. Полоски-царапины на лице Приходнова сразу расширились, набухли, из них показалась кровь.

— А-а-а!— закричал Приходнов вслед убегавшей Тане.— Будешь знать, как его любить!

Он рукавом утер кровь с лица и тоже побрел в класс. Приходнова догнала учительница и, увидев, что с ним творится, ахнула, схватила за руку, и они побежали на второй этаж к медсестре.

В туалете плакал маленький Соловьев, уткнув голову в холодную стенку.

Мальчишки, лишившись предводителя, не трогали Таню, только с любопытством на нее оглядывались. А она, с порванным воротничком, растерянная, растрепанная, дрожала всем телом и ни на кого не могла смотреть. Ей было стыдно. Мужской туалет, эта запретная для девочек зона, орущая, насмехающаяся толпа, злой беспощадный Приходнов — все это стояло перед глазами и не давало прийти в себя.

И уже как будто не было вчерашнего вечера.

...Учились шестиклассники во вторую смену. На втором уроке в классе зажигали свет. Домой Таня возвращалась в полной темноте, фонарей в их районе еще не было. Обычно она шла с подружками но сегодня — одна. В школе потерялась варежка и Таня долго ее искала.

— Коданева, подожди!— окликнули ее.

Валерка Приходнов и Саня Муравченко догнали Таню.

— Нашла рукавицу?— спросил Приходнов.

— Нашла,— ответила Таня.— Это не ты ее спрятал?

— Я,— сознался Приходнов.— Ты бы спросила у меня, я бы сразу ее обратно нашел. В другой раз спрашивай.

— Ты лучше больше не прячь,— попросила Таня.— Я боюсь одна в темноте возвращаться.

— А ты с нами будешь, с нами не страшно,— пообещал Приходнов и громко запел некрасивую взрослую песню. Муравченко его поддержал, и они, подражая словам песни, зашатались как пьяные. Таня за них покраснела.

Падали звездочки снега. Вечер был теплый, первый такой после сильных морозов, когда шестиклассники даже два дня не учились. Прохожих почти не было на тихой улочке. Мимо проезжали редкие машины, высвечивая фарами дорогу и снежинки перед собой.

— Кода, хочешь фокус покажу?

Приходнов остановился, подождал очередную машину и бросил под нее портфель.

— Ух, мимо! Коданева, подожди, не уходи, я счас под другую машину брошу! Вот увидишь, попаду!— сказал Приходнов.

Они с Муравченко бросили портфели под вторую и под третью машины, но под колеса не попали. Последний грузовик, пропустив портфели между колес и проехав еще немного, остановился. Из кабины выскочил шофер и погнался за мальчишками. Они дико обрадовались этому и помчались прочь. Таня, сама того не ожидая, бросилась за ними, как соучастница и верная подруга. Шофер их, конечно, не догнал, и это всех страшно развеселило. Все почувствовали себя ловкими, смелыми. И Тане передался мальчишеский азарт. Прежде она ни в каких озорствах не участвовала. Рядом был ее дом, а расставаться с мальчишками уже не хотелось.

— Выходи гулять, Кода, я тебя здесь подожду,— сказал Приходнов.

Услышав это, Муравченко удивленно покрутил головой. Что это с Валерой — девчонку зовет гулять? Приходнов не обратил на это внимания.

Таня знала, что если зайдет домой — улицы ей не видать, и без того задержалась. А погулять кому ж не хочется в теплый снежинчатый вечер? К тому же Таня впервые гуляла с мальчишками и немножко гордилась этим. Правда, Приходнов и Муравченко — двоечники, в школе на плохом счету, ну и что?

Она согласилась погулять, не побывав дома.

— Ура!— крикнул Приходнов и подставил Тане подножку. Она упала в снег, вскочила и толкнула Приходнова. Он развалился в сугробе и заржал. Таня подала ему руку, он резко дернул ее. Она упала на Валерку, и они весело забарахтались в сугробе.

— Ребя, айда на горку в наш двор!— предложил Муравченко.

Это была удивительная горка — высокая, крутая, сделанная без единой доски, все из снега — от твердых ступенек с одной стороны до изумительно ровного ската цвета морских волн с другой. Делали ее отцы трех двухэтажных домов, не доверяя детям ни трамбовать снег, ни заливать поверхность. Каждый вечер детвора устраивала на этой горке зимние праздники и возвращалась домой неохотно — мокрая, замерзшая, но румяно-счастливая.

Сейчас, поздним вечером, горка стояла непривычно одинокая и была похожа на памятник Детству.

Ребята побросали на снег портфели, радостно побежали к ступенькам. На ходу Таня подобрала картонку и наверху плюхнулась на нее. Как чудесно было мчаться вниз, зажмурив от ветра глаза, и за короткое время почувствовать, как хорошо на свете!

Мальчишки форсили перед Таней, катались стоя, с шиком, ловко прыгая в снег там, где лед под горкой кончался. Таня скатывалась на картонке или на корточках. Над ней смеялись.

— Кода, катайся стоя! Кода, ветер услышишь! — просил Приходнов.

— Бояха, трус! — добавлял Муравченко и презрительно ронял: «Баба!»

Таня хотела обидеться — так легче было уйти, и не смогла. Уж слишком хорошо ей было с мальчишками. В следующий раз она поехала стоя. Это оказалось не страшно, надо было просто приседать в том месте, где спуск кончался и начинался прямой лед. Зато восторг поднимался на высоту Таниного роста, Таня захлебывалась им и смеялась почти беспрерывно.

Падала она только в тех случаях, когда дорогу ей преграждал Приходнов. Он вставал на лед и отпрыгивал лишь в тот момент, когда приближалась Таня. Но она все равно пугалась и падала.

— Боишься? Меня боишься? — Приходнов обгонял Таню на ступеньках и поворачивал к ней лицо с узкими зелеными глазами. — Ты меня, Кода, не бойся, я тебя никогда не обижу.

— Еще раз встанешь, я домой уйду, — сказала Таня.

Больше он не вставал.

— Ребя, давайте паровозиком? — предложил Муравченко.

Ему, наверно, стало скучно. Он катался сам по себе и удивлялся «ненормальности» Валерки — на какую-то девчонку обращает столько внимания! Сам же говорил, что они — бабы!

— Давайте! — с радостью согласился Приходнов.

Первым съезжал Муравченко, закусив завязки шапки-ушанки как удила, в середке — Таня. Ее крепко держал за пояс Приходнов.

Все втроем они падали, и это из-за Муравченко. Он нарочно валился в конце, чтобы Таня на него упала. Приходнов падал сверху. Они весело и небольно тузили друг друга руками и ногами и, поднявшись, бежали к горке наперегонки.

Уже давно никто не отряхивался — бесполезно. Снег висел на одежде льдинками — цепкими, как колючки. Одежда промокла насквозь, но холодно не было, только иногда по телу пробегал быстрый озноб.

Все здорово проголодались, но о доме никто не заговаривал. Пойти домой — значит, расстаться. А Тане еще никогда не было так весело и хорошо. Она смирилась с тем, что дома ей попадет. Все равно попадет, пусть уж лучше позже.

— Счас я вас накормлю, — сказал Приходнов и привел ребят к двухэтажному деревянному дому (здесь был целый городок таких

домов, и они сами жили в подобных). На лестничной площадке второго этажа ярко горела лампочка.

— Вывернем? — спросил Муравченко.

— Не надо, — ответил Приходнов. — Уже поздно, никто не выйдет.

Он, видно, был здесь не впервые.

Возле одной двери стояла деревянная бочка, прикрытая листом фанеры. Приходнов тихо снял его, вытащил гнет и мокрый деревянный круг, положил их сверху. Таня заглянула в бочку. Поблескивая рассолом, ровненько, словно ее никогда не трогали, лежала капуста. Ее было в бочке меньше половины, приходилось сильно нагибаться, доставая. По очереди наклонялись, черпали капусту прямо горстями, отправляли в рот. Руки, красные от снега и мокрых варежек, защипало от рассола. Ели молча, чтобы не услышали. Тане было чуточку нехорошо, что они едят чужую капусту, хотя и очень вкусно. Ей даже хотелось, чтобы их услышали и прогнали. Пусть услышат, вон как мальчишки хрумкают. Таня тоже захрустела капустой громче.

Когда наелись, Приходнов аккуратно разровнял капусту рукой.

— Мало уж осталось, — озабоченно прошептал он и закрыл капусту в точности, как было.

— Пить хотца, — сказал Муравченко. — Соленая твоя капуста, Прихода.

— Счас попьешь.

Вышли на улицу.

— Пейте, — сказал Приходнов и зачерпнул из сугроба чистого снега.

Поели снега, по-капустному хрустящего на зубах.

— Дома накостыляют, — сказал вдруг Муравченко. — Домой пойду

— Слабина! — сказал Приходнов и презрительно сплюнул сквозь зубы. — Вон Кода и то не хнычет.

— Накостыляют, — мрачно повторил Муравченко. — Пойдемте домой, а ребя?

— Я знаю, где со второго этажа прыгать можно, — сказал Приходнов, не обращая больше внимания на Саню. — Айда, Кода!

Он быстро зашагал, и Муравченко покорно поплелся за ним. И Таня пошла. На сердце было тревожно, она знала, что дома волнуются, да еще как! Но она упорно отгоняла мысли о доме. Она понять себя не могла. Ну ладно — Муравченко, он друг Валерки. А ее-то что удерживает рядом с отпетым, как говорили в школе, Приходновым? Но Тане было с ним хорошо! Именно с ним, а не с ними, потому что Муравченко был обезьянкой, подражалой то есть.

Двоечник Валерка Приходнов всю зиму ходил без шарфа, в куцем пальтишке с узкими и короткими рукавами, сверху и снизу на пальто не было двух пуговиц. Месяцами он носил одну и ту же

темную рубашку, которую менял после того, как учительница писала его матери записку. В школу Валеркину мать вызывать было бесполезно — она не приходила.

Тетради и учебники Валерки были грязными, как лицо и руки, и Нина, девчонка, которую с ним посадили, говорила подружкам, что от него пахнет бездомной собакой. Нина сидела как можно ближе к своему краю и однажды, озлившись на это, Приходнов совсем столкнул ее с парты.

Двойкам Валерки никто не удивлялся, словно они были запланированы. Он сам поражался, когда в его тетрадках появлялись тройки. Однажды по алгебре он решил правильно все задачи и, несмотря на грязь, учительница поставила ему «четыре». На перемене он подошел к ней и сказал, что в его тетрадке ошибка: «четверка» стоит. Анна Петровна улыбнулась и ответила, что это не ошибка. В тот день Приходнов подбирал все бумажки с пола, относил их в урну, вытирал добровольно доску и никого не задирал. Назавтра он пришел в чистой, хоть и очень мятой рубашке.

Почему ему нравилась Таня, Валерка не знал. Он терпеть не мог девчонок, всегда прогонял их с горки. Он называл их презрительно: «бабы». Некоторых мальчишек, которые не нравились ему тихостью, «пятерками», он тоже так называл. Его боялись.

На Таню он обратил внимание на катке. Он катался по льду на валенках и толкнул ее нечаянно. Таня упала и долго не могла подняться, потому что на коньках и стоять-то по-настоящему не умела. Но она не закричала на Приходнова, даже не взглянула на него. Наконец встала, балансируя руками, катнула ногой и снова упала. Приходнов сел в снег и стал наблюдать за ней. Таня то и дело падала, но не хваталась, как все девчонки, за ушибленные места и не ныла. Она была в белой пушистой шапке, короткой юбке, вся свежая и нарядная, как снег. Но не это понравилось Приходнову, а ее мальчишеское упорство. Ему даже захотелось подойти к ней и поддержать, чтобы она не падала так часто и скорее научилась кататься.

Но вместо этого он сказал подошедшему Муравченко:

— Смотри, как пьяная валится!

Он почему-то не назвал ее «бабой» как других девчонок. И когда Муравченко стал громко хохотать, показывая на Таню пальцем, Валерка толкнул его в сугроб.

В школе на уроках он стал часто оглядываться на Таню — она сидела наискосок от него через две парты. Он видел ее глаза — голубые цветки с черными серединками, немного пухлые губы. За рыжеватые косы так и хотелось подергать. На переменах Приходнов дергал за них, толкал Таню, ставил подножки — ей житья от него не стало. Если Валерка не успевал увернуться, она давала ему сдачу — ерундовую, конечно, девчоночью. Но никогда не жаловалась и не плакала.

Она была полной противоположностью Нинке — соседке по парте. Валерка стал всячески изводить Нинку в надежде, что ее

переменят на Таню. Он ставил ей кляксы в чистые тетрадки, щипал на уроке так, что от неожиданности Нинка громко взвизгивала. Класс хохотал, Валерку выставляли в коридор. В конце концов Нинку отсадили, а его оставили одного. Опять он ничего не выиграл, у Нинки хоть иногда удавалось списать.

Таня, как и Нинка, училась хорошо, и этим Приходнов гордился. Валерку она не замечала. Да он и не хотел, чтобы она знала, что нравится ему. А вот дружить с ней мечтал. Он нарочно запрятал рукавичку, чтобы ее болтливые сороки-подружки ушли вперед. Правда, Муравченко тоже остался, он ни на шаг от Валерки не отходил. Приходнов не прогнал его. Свой ведь брат, двоечник, поэтому и друг.

С торца одного дома на второй этаж вела деревянная лестница с балконом наверху. Приходнов быстро взбежал по ней, вскочил на перила балкончика, раскинул руки самолетиком и — бултых в сугроб.

— Ух ты! Четко! Прыгайте!

Муравченко точно так же прыгнул. А Тане страшно было подниматься на перила - узкие, скользкие. Сорвешься с них и попадешь не в сугроб, а на утоптанную площадку под балконом.

— Давай, Кода! Давай, прыгай!

Приходнов уже стоял рядом, толкал к перилам. Он помог ей забраться на них.

Таня оттолкнулась и прыгнула. Она и раньше прыгала в снег с сараев. И всегда недолгий полет создавал в душе молчаливый восторг. Так и сейчас, только полет длился на секунду дольше. Снежинки, вспугнутые прыжком и выпорхнувшие из сугроба, осели на горячем лице свежими брызгами. Как здорово еще и еще ощущать этот молчаливый восторг, который возвращается с каждым прыжком, не теряя своей новизны.

И вот уже не узнать сугроба. Он осел, перестал блестеть и искриться.

— Молодец, Кода!— крикнул Приходнов.

Всякий раз, когда прыгала Таня, он останавливался и оценивающе щурил глаза. И улыбался, когда Таня приземлялась без обязательного девчоночьего визга.

Похвалил ее Валерка, и Таня покраснела почему-то и еще быстрее побежала вверх по лестнице. Приходнов ждал ее на верхней ступеньке.

— Кода, тебе кто-нибудь из наших пацанов нравится?— неожиданно и тихо спросил он.

Вопрос был удивительный. Таня даже растерялась. Она никогда над этим не задумывалась. Мысленно перебрала всех мальчиков в классе. Выходило, что никто не нравился. Может, по красоте? И Таня сказала про Соловьева. Да, правильно, он самый красивый из мальчиков, волосы у него кудрявые, глаза большие и синие,

а ресницы длинные и густые, как щеточка у рисовальной кисточки.

— Ха! Соловьев, да? Ну, ладно!— Приходнов так же неожиданно, как задал вопрос, толкнул Таню, скатился по лестнице и исчез среди одинаковых домов и сугробов.

И Тане вдруг сразу расхотелось прыгать. Почувствовала, что замерзла, словно вся оказалась в рассоле, как та капуста. Муравченко побежал догонять Валерку, подобрав свой и его портфели. Таня тоже подняла портфель и медленно побрела домой, думая, что никто ей не нравится из мальчишек в классе. Сегодня вот только понравился Соловьев. Но разве можно было сказать ему об этом?

Когда Таня подошла к дому, мать, простоволосая, выходила к телефону-автомату звонить в милицию о пропаже дочери. Еще раньше она обошла весь деревянный городок, сходила на горку, к школе, но Таню не нашла. Она с мальчишками, наверно, в это время лакомилась капустой. Увидев Таню, мать впервые в жизни отхлестала ее по щекам.

Было два часа ночи.

В класс Приходнов вернулся вместе с Анной Петровной неузнаваемым. Лицо — в полосках царапин и йода. Шестиклассники захохотали, весело им было смотреть на такого полосатого.

Приходнов невозмутимо прошел на свое место, и, когда смех стих, оглянулся на Таню. Все снова захохотали. Все, кроме Тани и Соловьева, который уже сидел на своем месте и чертил что-то на промокашке.

Таня смотрела в одну точку перед собой, упрямо сжав губы. Воротничок на платье был почти оторван, кое-где торчали белые нитки. У Приходнова екнуло сердце. Он на мгновенье пожалел о своем поступке, но ревность вспыхнула в нем с новой силой.

«Соловьев ей нравится!— зло подумал он.— А чего тогда со мной вчера гуляла?»

— Ребята, что у вас произошло?— спросила учительница.— Кто поцарапал Приходнова? Таня, почему у тебя оторван воротник? Володя Соловьев, почему ты хмурый?

Кто поцарапал — этого никто не знал. А о том, что воротник Тане оторвали мальчишки, загнав ее в свой туалет, сказала староста Нинка. Больше она ничего не знала, как и другие девочки. А мальчишки молчали.

На перемене, когда все, кроме Кодaневой и Соловьева, вышли из класса, Анна Петровна подозвала Таню, прижала к себе и ласково спросила:

— Что случилось, Танюшка?

Таня еле сдержалась, чтобы не заплакать. Закусила губы, но уголок нижней все равно полз вниз. В глазах стояли слезы. Она молчала.

Учительница сняла с нее еле державшийся воротник, выдернула торчавшие белые нитки и вздохнула:

— Не хочешь говорить — не надо.

Таня кивнула — при этом две слезинки выбежали из глаз — и пошла на свое место.

— Володя, может, ты объяснишь?

И тогда Соловьев, заплакав снова, сбивчиво рассказал, что мальчишки за что-то велели ему целовать Коданеву, а он никому ничего плохого не делал, и Приходнову не делал, а он, Приходнов, больше всех заставлял. Рассказывая, Соловьев размахивал руками и зло смотрел на Таню, словно она была виновата во всем.

Приходнов стоял за дверью, ждал Таню. Выйдя из класса, учительница взяла его за локоть, отвела в сторону.

— За что ты обидел товарищей?

Она знала, что от него ничего не добиться. Узкие глаза Приходнова совсем сузились, он отвернулся так, что занемела шея. В классе он безразлично выложил дневник, когда его попросили об этом. Учительница поставила ему очередную двойку по поведению и вздохнула: если бы двойка смогла помочь Приходнову понять всю жестокость своего поступка...

Приходнов поджидал Таню на каждой перемене. Он хотел спросить у нее: все еще она любит Соловьева или уже нет? Ведь должна же теперь она отступиться от этого тихони и заметить его, Валерку!

Но Таня, как и Соловьев, больше не вышла из класса.

После уроков Приходнов первым оделся и выскочил на улицу. Таня вышла с девочками.

— Эй, Кода, подойди!

Таня на него даже не взглянула.

— Приходнов, не трогай ее, мы учительнице скажем,— нерешительно предупредила Нинка.

— А я ее и не трогаю! Уйдите вы, бабы!

Девочки плотно окружили Таню и не уходили.

А Приходнов уже мучался. В нем росло какое-то волнение, предчувствие беды. Ему необходимо было знать: на пользу ли пошел его сегодняшний поступок. Казалось, он умрет, если не узнает об этом.

И он решился.

— Ну что, ты все еще его любишь?— спросил он у Тани, сощурив узкие глаза.

— Люблю!— вызывающе сказала Таня.

Приходнов опешил.

— А если я тебя убью?— выдавил он.

Девочки ахнули. А Таня вдруг выбежала из кольца и со всего размаху ударила Приходнова портфелем по спине. И еще раз, и еще. Приходнов не защищался, и Таня опустила портфель.

— Если ты меня еще тронешь, всю жизнь жалеть будешь!— выкрикнула она, тяжело дыша.— А сегодня я тебя пожалела!

— Что ты мне сделаешь-то, кошка?

— Что? А глаза царапну, вот что! Мне один мальчишка глаз

…арапнул, я его два дня открыть не могла. У меня он закрылся да открылся, а у тебя не откроется, понял? И Соловьева не трогай, я тебе за него один глаз тоже выцарапну, вот так!

— Да?

— Да!

Приходнов повернулся и пошел прочь. Ему хотелось плакать. Он понял, что все кончено. Теперь Таня никогда не будет дружить с ним. Приходнов никогда не плакал, ему было стыдно плакать. А сейчас злые слезы катились из узких глаз. Он не вытирал их. Пусть прохожие думают, что это звездочки снега тают на лице. Да и прохожих-то нет. Никого рядом нет. Саня Муравченко заболел. Да разве он нужен Валерке? Как на улице темно... И не видно совсем, что он плачет.

КОЕ-ЧТО О ТЕЛЕПАТИИ

После консультации по алгебре ребятам не хотелось расходиться. На улице так хорошо: конец мая. Куртки у всех расстегнуты, головы непокрыты. И на Север пришла весна!

Восьмиклассники кучкой стояли на школьном крыльце и спорили о телепатии. Есть она или нет?

— Конечно, есть,— рассуждал Владик — мальчишка в клетчатой куртке.— Чем же тогда объяснить — мать чувствует, что сын заболел, а она живет в другом городе. Или помните по телику фильм о Ломоносове? Ломоносову в Германии привиделось, что его отец утонул в Белом море, и так и было. Что это?

— Все это ерунда на постном масле,— скривив губки, сказала Тамара, высокая, со взрослой прической, девочка.— Всякие там телепаты, экстрасенсы...

— А я где-то читал, что в голове человека есть специальный орган, воспринимающий телепатию, только человек еще не умеет пользоваться им,— поддержал Владика Толя.

— Дельфины передают друг другу на расстоянии все что хотят,— высказалась Галка.

— Они тебе сами об этом сказали?— язвительно спросила Тамара.

С ребятами была учительница математики Ольга Сергеевна. Она ничего не говорила, только с улыбкой посматривала на тех, кто выступал слишком уж бурно.

— Ольга Сергеевна, а вы как думаете?— спросил Владик.— Есть телепатия или нет?

— Мне кажется, что нет,— Ольга Сергеевна с улыбкой покачала головой.

— Ну вот! Вы тоже не верите!— Влад даже рукой махнул от возмущения.

— А давайте мы с вами проверим, есть она или нет,— предложила Ольга Сергеевна.

— Давайте!

— Выберем объект... Вот, хотя бы Тамару...

— Ее нельзя!— запротестовали приверженцы телепатии.— Она специально скажет, что нет!

— Тогда возьмите нейтральное лицо. Вот — Любочку.

Любочка — невысокая ладная девочка, в белом берете и таких же кожаных сапожках, во время спора спокойно стояла среди ребят, не проявляя, казалось, никакого интереса.

— Да она невосприимчива!— пытался возражать Владик.

Но выбор остановили на Любочке.

— Люба, ты отойди в сторонку, мы договоримся, что будем тебе передавать.

Любочка скромно отошла, а ребята, сжавшись в кружок, в центре которого стояла учительница, оживленно зашептались.

Позвали Любу.

— Ровно в двадцать два ноль ноль настраивайся на нашу волну,— сказала Ольга Сергеевна.— Мы будем передавать тебе задание — все одно и то же.

— Смотри, Любка, не подведи!— Владик показал ей кулак, что было, конечно, не по-рыцарски.

Ровно в десять вечера Любочка удалилась в свою комнату, предупредив домашних, чтобы они не мешали.

Она села за стол, положила перед собой чистый лист бумаги: вдруг надо будет что-то записывать? Рядом лежал учебник алгебры, который Любочка штудировала каждую свободную минуту — скоро экзамен.

Десять часов. Сейчас одноклассники что-то передают Любочке. Что же? Что?

Любочка напрягла лоб так, что на нем образовались морщинки. В комнату не поступало ни звука. И в голову Любочки тоже ничего не поступало.

Лист так и лежал чистый. Учебник — нетронутый.

«Может, надо подойти к окну?»

Любочку сильно потянуло к окну. Она подошла к нему. Вечер был светлый — уже начинались белые ночи. Деревья еще голые. Под толстым тополем грустно стоит посеревшая за зиму скамейка.

Любочка постояла у окна и отошла. Грустно вздохнула.

Нет ее, наверно, телепатии, подумала она. Даже немножко расстроилась.

Утром снова была консультация. Перед экзаменом она каждый день.

Ребята встретили Любочку с нетерпением.

— Ну как?

Любочка пожала плечами.

— Ничего в голову не пришло.

— Как? Совсем ничего?

— Не-а.

— Говорил же я — неудачный объект,— недовольно проворчал Владик.— Лучше бы передавали мне, я бы сразу все понял!

В класс зашла учительница. И она тоже сразу посмотрела на Любочку.

— Ну, Люба, отчитайся перед нами. Ты ведь у нас подопытный кролик,— пошутила она.

Любочка встала.

— Ничего мне в голову не пришло, Ольга Сергеевна,— сказала она жалобным голоском.— Сидела я за столом. Потом подошла к окну. Вот и все.

Ребята разочарованно загудели.

— Да, не то,— призналась Ольга Сергеевна.— Мы передавали тебе, чтобы ты открыла учебник алгебры на двадцать восьмой странице. Простейшее задание.— Учительница посмотрела на Владика.— Ну, вот вам, ребята, и доказательство того, что телепатии не существует.

— Кролик не тот,— пробурчал Владик.

И никто не заметил, как на последней парте сиял мальчишка и победно сжимал ладони. Ведь это он ровно в двадцать два ноль-ноль стоял под Любочкиным окном и мысленно умолял:

— Подойди к окну, Любочка! Подойди к окну! Подойди!

А когда она подошла, он спрятался за ствол старого тополя.

Нет, Колька с последней парты не думал, что он — телепат. Просто Любочка ему очень нравилась.

ЧТО ОНЕГИН СКАЗАЛ ТАТЬЯНЕ

Аня ускользнула из дома, когда все смотрели телевизор, какой-то жутко интересный фильм.

На улице было пустынно. Молотил дождь, от которого таял последний снег. Желто светились фонари, отражаясь на мокром асфальте. От этих отражений черный блестящий тротуар казался теплым.

К телефону-автомату Аня подбежала с трепещущим в груди сердцем. Она долго не решалась войти в будку, ходила рядом взад-вперед и шепотом повторяла: «Мамочки, мамочки, мамочки» словно шептала молитву.

Наконец, она зашла в автомат и набрала номер.

— Саша дома?— спросила дрожащим от страха голосом.

— Нет, он на репетиции в школе,— ответила какая-то женщина. Наверно, это была его мама.

Аня повесила трубку и с облегчением вздохнула: страшное дело откладывалось на неопределенное время.

Она выскочила под дождь и побежала к школе. Окно актового зала было приоткрыто, оттуда доносились звуки гитар: несколько раз начинали играть одну и ту же мелодию.

Дождь полил сильнее, Анина куртка промокла насквозь. Но холодно не было. Наверно, от возбуждения. Возбуждало Аню то страшное дело, которое она задумала.

Она решила признаться в любви мальчишке, которого любила уже целый год, с восьмого класса. Она решила, что пусть он об этом знает. Пусть просто знает и все, ей больше ничего не нужно.

Призналась же первая Татьяна Ларина, успокаивала себя Аня.

Гитары смолкли. Минут через пять на крыльцо школы вышли четыре подростка. Подняв капюшоны курток, они торопливо прошли мимо Ани, не заметив ее. И Саша в красной куртке прошел мимо.

Дождь стал Ане милее — Саша тоже шел под ним.

Ее сердце снова сильно забилось. Вот оно, приближается... «Пусть он знает, и все...» Аня подождала, пока Саша, попрощавшись с ребятами, скроется за углом, и опять побежала к телефону-автомату недалеко от своего дома.

— Сашу можно?

— Да, пожалуйста, он только зашел.

Тут же возник его голос:

— Да.

Аня бросила трубку и прижала ладони к пылающим щекам. «Мамочки, мамочки, мамочки...» И снова набрала номер.

— Да!— Его голос слегка сердит. Он, наверно, подумал, что кто-то балуется, когда она со страху бросила трубку.

На улице стемнело, от дождя было еще темнее, чем обычно в десять часов. За стеклянной дверью автомата шуршащие звуки дождя, звонкие рассыпающиеся удары о крышу будки дождевой струи, когда ее ветром относило от водосточной трубы.

— Это Саша?

— Да, да.

— Саша...

Аня набрала в легкие весь воздух, который был в будке, как перед прыжком в воду. И выдохнула: — Саша, ты только не смейся... Я люблю тебя.

На свете нет слов страшнее. Сначала Аня вытолкнула: «люблю», а «тебя» выскочило само.

Она успела еще услышать:

— Что-что-что-что?

И бросила трубку.

Сердце выпрыгнуло из телефона-автомата раньше нее, побежало по холодным апрельским лужам, сколько луж было на пути, сплошная вода!

Как страшно!

Аня прислонилась к стене какого-то дома, и ей опять не было холодно, а только удивительно, непостижимо то, что она совершила.

Призналась. Первая. Какой ужас.

Татьяна Ларина тоже призналась первая, но теперь мысль об этом почему-то не успокаивала Аню.

Она долго приходила в себя. Ее успокаивал дождь, струями стекая по лицу.

Внезапная догадка оторвала Аню от стены дома. Она звонила Саше первый раз в жизни. Нашла в телефонной книжке его номер и позвонила. А вдруг он ее не узнал? Вдруг все было напрасно?

Завтра ей необходимо его увидеть! Он ничего не скажет, и она ничего не спросит, но по его лицу, по глазам будет ясно: узнал ли?

У Ани подкосились ноги, а дождь все успокаивал ее, успокаивал. Домой она вернулась совершенно спокойная.

Жутко интересный фильм продолжался, поэтому никто не заметил, что Аня куда-то уходила.

Саша сразу узнал, кто звонил.

Это девчонка из девятого «б». Не то чтобы эта девчонка преследовала его, вовсе нет. Они встречались в школе: в столовой увидятся, в коридоре. И всегда Сашу удивлял взгляд ее темных глаз. Очень пристальный, что ли, очень что-то говорящий. Больше на Сашу так никто не смотрел. На общешкольном вечере, посвященном 8 марта, она сидела на стуле недалеко от оркестра и тоже смотрела на него, а он сидел за своей ударной установкой и был весь во власти музыки, и, помнится, очень удивлялся, что какая-то девчонка на него все время пялится. Ее приглашают ребята, а она не танцует, чудачка.

А потом, уже откровенной весной, в апреле, он стал встречать ее у своего дома. Она как бы случайно проходила мимо.

Девчонка никогда ничего не говорила, а ее взгляд Сашу даже немного пугал. Ну нравится он ей, вполне возможно, ну подойди ты, скажи что-нибудь, ну пригласи на вечере потанцевать, не всегда же он барабанит, восьмиклассник Игнат Ильчуков, растущая смена его подменяет. А то — просто смотрит и все... Чудачка.

И вдруг эти оглушающие слова в конце апреля. Из-за них Саша долго не мог заснуть, думал. Что ему делать? Что той девчонке ответить? Он даже не знает, как ее звать. Ничего он не сможет ответить. Скорей бы экзамены и — до свиданья, школа. А то теперь как-то неловко.

Мама его замешательство после телефонного звонка сразу заметила.

— Кто звонил?— спросила она,— уже второй раз этот голос.

— А, одноклассница.

— А что она сказала?

Саша не нашелся что ответить, буркнул:

— Да так, ерунду.

Но сам понимал: ох, не ерунду. Если бы ерунду, легче бы было.

Назавтра он боялся встречи с ней. Даже не то чтобы боялся, просто было не по себе. Просто жалко ее, чудачку, надо же так в него втюриться. Вообще-то девчонки на него заглядываются, Файка из его класса сказала как-то:

— Ты, Сашка, красавчик.

Он, что, виноват?

На следующий день он не встретил ее. И еще на следующий. Саша вспомнил, какой дождь лил в ТОТ день, и подумал, что она, может, заболела. А может, ей теперь до такой степени страшно встретиться с ним, что она перешла в другую школу? А если это не она сказала? Да нет, другие девчонки спокойные и держатся как ни в чем не бывало.

Они встретились через неделю, в коридоре, внезапно. Только что закончился урок, их десятый переходил из кабинета физики в кабинет истории. И около кабинета истории им пришлось подождать, потому что тех учеников, которые были в историческом классе, еще не отпустили на перемену. И тут вдруг распахнулась дверь, и оттуда стали выходить ребята с сумками. Это был девятый «б». Только Саша успел понять это, как тут же увидел ту девчонку, вернее, ее глаза: они были устремлены на него. Но стоило Саше взглянуть на нее ответно, получилось это пристальнее, чем всегда, как ее глаза метнулись в сторону, и Саша сразу покраснел. И она покраснела. И потому, как оттолкнулись их взгляды, встретившись друг с другом, они поняли каждый свое. Саша понял: да, точно, это она. Аня поняла: он знает, что это она.

Больше Саша ее возле своего дома не видел. И в школе не встречал. Аня пряталась от него.

Потом начались выпускные экзамены. Девятый «б» уехал на работу в совхоз. В июле Саша поступил в институт.

Аня снова стала приходить к его дому, когда Саша уехал из города. Теперь не надо было бояться встретиться с ним.

Ей был очень дорог Сашин дом. Ведь здесь жил он, а теперь живут его родители и лежат его вещи, и школьная сумка висит на каком-то гвозде.

Аня никогда не жалела, что призналась Саше в любви. Она думала, что каждому человеку приятно знать, что его кто-то любит.

Но встреч с Сашей после своих СТРАШНЫХ слов Аня боялась.

Татьяна Ларина тоже боялась. И правильно. Ведь что ей сказал Онегин?

АПРЕЛЬСКИЕ ПРОКАЗЫ

Гей — это Сергей. Когда он был маленьким, он всем так представлялся: «Гей». В первом классе сосед по парте спросил как его звать. Сергей по привычке бухнул: «Гей». Так он и остался Геем на всю школьную жизнь. А может, и не только на школьную.

Гей не любил автобусы. По возможности он всегда ходил пешком. Даже если нужно было попасть из одного конца города в другой, он шел пешком. Хорошо, что город у них маленький.

Сейчас Гею автобус совсем уж ни к чему. Он гуляет. Весна. Ранний вечер. Ничего, что не сделаны уроки — успеет.

Гей любит просто так бродить по своему городу. Особенно весной. Особенно вечером. Сиреневое небо. Голубой снег. В домах светятся окна. Вспыхивают новые — люди возвращаются с работы.

Гея перегнал какой-то автобус. Казалось бы — ну и что? Но с мальчишкой что-то случилось. Гей сам не мог понять, почему он за автобусом побежал. Побежал, да и все. До остановки было недалеко. Только Гей успел вскочить на подножку, как автобус тронулся.

Гей протиснулся к окну, где было посвободнее.

И тут он увидел девчонку. Девчонка как девчонка. Вязаная красно-белой полоской шапочка. Куртка и джинсы. Ну ничего такого.

Девчонка эта открывала окно. Но оно привыкло за зиму быть закрытым и не поддавалось. От усилий девчонкино лицо перекосилось. Гей стал ей помогать. Вдвоем они открыли окно, взглянули друг на друга и улыбнулись.

В окно влетел свежий апрельский ветер, в автобусе запахло тающим снегом. Ветер шевелил челку девчонки, а под челкой светились синим светом глаза. Гей посмотрел в эти глаза и понял, почему он гнался за автобусом как сумасшедший.

Только вот познакомиться с девчонкой он не смел.

Автобус катил мимо многоэтажных домов, мимо переливающихся разноцветных реклам. Сначала Гей смотрел на улицы, потом снова взглянул на девчонку. И она на него взглянула, и оба они вдруг прыснули и засмеялись. Это получилось само собой, настроение было веселое. Но почему-то их смех не понравился женщине, сидящей на сиденьи лицом к ним.

— Не балуйтесь в автобусе,— сердито сказала она им.

— А мы и не балуемся,— Гей пожал плечами.

Они с девочкой снова переглянулись и рассмеялись еще громче. Не были они в этом виноваты, ну раз смеялось?

— Не балуйтесь и закройте окно,— женщина еще больше посуровела.

— Но ведь душно,— сказала девчонка.

У нее оказался очень приятный голос: тонкий и слабый.

— Кому душно, кому и нет,— продолжала сердиться женщина.

У нее был такой важный вид, такие насупленные брови, словно ей подчинялась сама весна.

Гей с девочкой покосились на пассажирку и рассмеялись: уж над ней: такой у женщины был важный вид. К тому же весеннее настроение так и бушевало в Гее и этой незнакомой девчонке.

Но их никто не хотел понять.

— Как не стыдно смеяться над пожилым человеком, — упрекнула их другая пассажирка, тоже очень серьезная.

Хорошо, что автобус остановился. Гей с девчонкой, не сговариваясь, выскочили на улицу и дали волю смеху. Они прямо хохотали, словно вместе с воздухом из автобусного окна наглотались смешинок.

Потом они шли по талому снегу, мешали своей неторопливостью спешащим с работы людям. Ребят толкали, их разделяли людские потоки, но вскоре они снова сталкивались плечами и шли рядом.

По весне, по апрелю.

— Я бежал за автобусом сто метров! — хвастливо говорил Гей. Его толкнул прохожий, и Гей [illegible]. — Я рекорд скорости установил!

— А куда ты так спешил? — спросила девчонка. — Почему ты сейчас не спешишь?

— Оказывается, я бежал за тобой! [illegible] точно, — Гея осенило.

Девчонка поскользнулась и [illegible] мокрый снег. Наверно, от удивления.

— Не удивляйся, правда, я бежал за тобой, — Гей тоже понял, что девочка упала от удивления.

Они познакомились. Рассказали друг другу автобиографии. Девочку звали Катя. Она сказала, что Гей — прекрасное имя. Гораздо лучше, чем Сергей, потому что Сергеев — тысячи, а Гей — один.

— Ты по отчеству кто?

— Иванович.

— Когда вырастешь, ты будешь Гей Иванович. Очень здорово звучит: Гей! Гей! Иванович!

— Как будто кто-то меня погоняет, — уточнил Гей, и они снова засмеялись.

Гей набрал Кате тополиных веток, которые вязанками лежали рядом с уродливо обстриженными деревьями.

— Пусть у тебя дома распустится сад!

Они засмеялись.

Катя то и дело взмахивала несвязанным веником из тополиных веток и ойкала — поскальзывалась, сапоги у нее были ужасно скользкие. Счет падений был уже пять: ноль в пользу Гея.

Гей стеснялся ее поддерживать и отряхивать ее тоже стеснялся. И она стеснялась отряхиваться при Гее. От мокрого снега и талой воды Катины джинсы промокли, она замерзла, и нос у нее стал таким же синим, как и глаза.

— Тебе надо домой,— с сожалением решил Гей.— Ты простудишься.

Ему так не хотелось расставаться с этой хохотушкой! Но Катя согласилась: пора, родители, наверно, уже волнуются.

Гей проводил ее до той самой остановки, где они радостно выскочили из автобуса.

— До завтра,— сказал Гей.

Катя нисколько не удивилась этому «до завтра». Ей казалось, она знает Гея сто плюс сто лет, что иначе, как не «до завтра» и быть не может.

— До завтра!— сказала и она.— Эй! Гей! Турумбей!— она хлопнула Гея по плечу и впрыгнула в подошедший автобус.

И вот пришло завтра.

Катя, до пояса высунувшись в форточку, смотрит на улицу. Но даже со своего шестого этажа ей не виден Гей.

Гей в это время бродит по городу и ищет Катю.

Вчера они были так счастливы, что забыли условиться о месте и времени встречи.

На улицах по-прежнему шалила весна.

ВСТРЕЧА С МАЛЕНЬКИМ ПРИНЦЕМ

Сказка

> *«И если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы уж, конечно, догадаетесь, кто он такой».*
>
> **(Антуан де Сент-Экзюпери).**

Всего этого могло бы и не произойти, если бы не предновогодний вечер, когда я одна сидела в темной комнате, глядела на улицу, где дом напротив, казалось, покачивался в снегопаде, и думала о том, как встретить мне Новый год.

Дома? Но со взрослыми скучно. Опять уставятся в телевизор. Пойти к друзьям? Будут стихи, песни под гитару. Но ведь так уже было, а мне хотелось чего-то необыкновенного.

Тут по небу махнул рукой ветер, и все снежинки полетели в сторону моего окна и шелестящим хором зашептали...

Я поняла, о чем они говорили: со мной случится волшебное, надо только выйти на улицу в двенадцать часов.

Когда часы пробили полночь, я вышла из дому и не спеша побрела по улице.

Падал снег пушистыми хлопьями. Снежинки летели на фонари, а те весело отмахивались от них, словно снежинки шептали им чепуху, и они отгоняли надоедливых болтушек.

Снежинки-канатоходцы садились на провода.

Улица была голубой от света фонарей, под ними, на бледных кругах, отражались тени снежинок: казалось, тысячи маленьких черных жучков перебегают дорогу.

На душе было так сказочно, что я даже не удивилась, услышав за спиной голосок:

— Пожалуйста... скажи, где эта земля — Африка?

Я обернулась и увидела маленького мальчика с золотыми волосами. Не сразу я догадалась, кто он такой. Меня беспокоило только то, что малыш один, ночью, почти раздет. Тонкий белый комбинезон и золотой, под цвет волос, шарф — разве одежда для зимних времен?

Я скинула с себя пальто и набросила на мальчика:

— Ты же простудишься!

Малыш звонко рассмеялся:

— Мне не холодно!

И отдал обратно мое старенькое пальтишко.

— Пожалуйста... скажи, где эта земля — Африка?

Я присела на корточки, положила руки на плечи мальчика и заглянула в глаза. Они были очень-очень доверчивыми и очень-очень грустными.

И тут я догадалась!

— Но ведь ты же... ты же улетел на свой астероид!— растерянно проговорила я.

Да, это был Маленький принц!

Он не дал мне договорить и весело рассмеялся, словно ему удалось перехитрить меня. Потом он внимательно и серьезно посмотрел мне в глаза.

— Ты встречалась с моим летчиком? Он тебе рассказал обо мне? Скорее скажи, где он теперь, я так по нему соскучился. Он в Африке?

— Нет,— я грустно покачала головой.— Я не встречалась с твоим летчиком. Но он тоже скучал по тебе и, когда скучать стало невмоготу, написал книгу. Теперь тебя знают и любят все на Земле.

— И ты?

Я кивнула.

Маленький принц снова рассмеялся, и мне показалось, что все снежинки вокруг нас смеются тоже. Но скоро он умолк и спросил серьезно:

— Где же эта земля — Африка? Там было все сухо и голо. Все желто. А здесь с неба падают странные маленькие звезды, которые умирают, если их поймать на ладонь. А что это за белый сверкающий песок повсюду? Это звездный песок? Он так красиво переливается. Мне нравится эта белая земля, и я хотел бы побольше узнать

о ней. Но сначала я должен найти моего летчика. Где же он? В Африке?

Я взяла Маленького принца за руку. Его ладошка была теплая и твердая. Наверно, на своей планетке ему приходилось много трудиться, выкапывая баобабы.

— Это не звезды, малыш. Это не песок. Это снежинки и снег. Снежинки падают из туч, что стоят сейчас над городом. Скоро они улетят дальше, и ты увидишь свою звезду, свою маленькую планету. А земля эта — Север. Зимний Север.

Я не ответила на его главный вопрос. Может, он забудет о нем? Но он опять спросил. Маленький принц всегда добивался ответов на свои вопросы. Он нисколько не изменился.

— Где же мой летчик? Может, мне спросить другого?

— Знаешь, малыш. Давай сначала погуляем. А потом я тебе все расскажу.

— Хорошо,— согласился Маленький принц.— А куда мы пойдем?

Мы пришли на городскую площадь, в центре которой радостно сияла огнями высокая елка. Она была как именинница, пригласившая гостей на праздник. Гости водили вокруг нее хоровод и пели детские песенки.

— Как здесь весело!— воскликнул Маленький принц.— Что это? Смотри! Это же мой Лис! Мой Лис, которого я приручил! Но как он вырос!

Он побежал к хороводу, потянув меня за руку.

— Лис!

Лис повернулся в нашу сторону, и я увидела девочку в костюме лисицы.

— Ой!— девочка тоже увидела Маленького принца.— Какой мальчик. Ты кто?

— Я — Маленький принц,— грустно ответил Маленький принц. Он очень огорчился, увидев вместо друга-Лиса незнакомую девочку.

Девочка засмеялась.

— Как ты похож на Маленького принца! Пойдем, тебе дадут приз за костюм!

— Но я в самом деле Маленький принц,— говорил Маленький принц, но девочка не слушала и тянула его за руку.

Он вернулся ко мне с самолетом в руках. Я догадалась, почему он выбрал именно эту игрушку. Самолет напоминал ему летчика.

Маленький принц так и не стал веселым.

— Я не могу веселиться, пока не узнаю, что с моим другом. Ты что-то скрываешь. Лучше скажи мне все сразу, может, я помогу ему?

Бедный Маленький принц. На его планетке время как будто остановилось. Он вернулся прежним. А на Земле время бежит быстро, и вряд ли Маленький принц застал в живых своего летчика, даже если бы не было Большой войны.

— ...Здесь славные люди. Дарят подарки, веселятся... Я бы хотел подольше побыть здесь, но мой друг... он в беде...

— Твой друг был храбрым летчиком, ты знаешь.

— Да, он был очень храбрым. И добрым. Зачем ты так длинно говоришь? Как взрослые! Разве от этого будет легче?

Тогда я решилась.

— Твой друг исчез. Его не нашли. Ни его, ни его самолета. Может, он улетел на какую-нибудь звезду? Может, ищет тебя? Говорят, он погиб, но ведь мы с тобой этому не верим. Так?

— Так,— сказал он и заплакал.

— Почему же ты плачешь?

— Я больше не встречусь с ним. Я такой одинокий. Моя роза завяла. Барашек все время молчит. Я прилетел к другу.

Внезапно он оживился.

— А мой Лис? Он не исчез?

Я пожала плечами. На Земле столько лисиц. И все другие. И другие взрослые. И другие дети. А стрелочников и вовсе не стало. Все поменяло время.

Но я не стала вконец разочаровывать Маленького принца. Ему и так досталось.

— Знаешь что?— решительно сказал Маленький принц.— Я пойду, поищу хоть Лиса. Он, должно быть, ждет меня, ведь я его приручил. Ты прощай,— сказал Маленький принц.

— Прощай,— сказала я, и скоро он растворился в белом мареве снегопада.

— Прощай, Маленький принц,— повторила я тихо.

Я с грустью подумала: Маленький принц не захотел, чтобы его приручила я.

ДРУЖИТЬ С МАЛЬЧИШКОЙ

Не знаю, почему меня потянуло взглянуть в окно. Сидела, читала, а потом отодвинула штору и посмотрела. Белая-белая, вся в снегу, улица была залита голубым светом фонарей. Сразу захотелось очутиться на этой чистой улице. Может быть, погулять? Я глянула на часы: поздно.

И вот сижу я у окна, гляжу на улицу и тут вижу, что по другой стороне идет моя одноклассница Любка.

Да, это была она в своей розовой шубке искусственного меха. Шла она неторопливо не очень красивой, семенящей походкой.

Но самое главное, что рядом с Любкой шагал... мальчишка. Самый настоящий мальчишка. Внутри меня что-то неприятно дернулось. Ладно бы, с мальчишкой шла моя подруга Галка или красавица Лида Карманова, ну пусть бы с ним шла круглая отличница

…ицарева. Я бы за них только порадовалась и потом с нетерпением ждала бы следующего дня, чтобы в школе об этом мальчишке порасспрашивать.

Но нет — Любка шла с каким-то незнакомым мальчишкой. Мальчик был немного ниже ее ростом, в модной куртке, в меховой, съезжающей на лоб шапке, он ее все время поправлял.

Я не то что не обрадовалась, наоборот, расстроилась.

Люба — мой недруг. Враг не враг, а недруг, мне кажется, это меньше, чем враг. Мы с ней уже месяц как не разговариваем. А если смотрим друг на друга, то не иначе, как исподлобья. У нее даже не спросишь завтра: «что это за тип тебя вчера провожал? (Они шли по направлению к Любиному дому). О ней даже не скажешь никому. Не хочу я, чтоб кто-то знал, что Любу провожал мальчишка. У нас все девчонки мечтают с мальчишками гулять, кто это делает, тому честь и хвала, им все завидуют. Не хочу, чтобы Люба попадала в число избранных.

Странно — почему этот незнакомый мальчишка вздумал ее провожать? Что он в ней такого нашел? Люба ходит как трясогузка — мелко-мелко семенит. Лицо у нее, правда, ничего, большеглазое. Но в общем в ней ведь ничего особенного. Учится на троечки. Правда, девчонка она веселая, этого у нее не отнимешь. Она здорово всех изображает. Девчонкам с ней интересно, и мне интересно, но раз я с ней поссорилась, не буду же первая мириться. На переменках в школе Люба с Надей Патовой такую штуку выделывают: Патова прячется за спину Любы и обхватывает ее руками. Люба свои руки прячет за Надину спину. Получается, что Надины руки — это Любины, и она ими делает всякие движения. А Люба в это время говорит, что попало. И получается очень смешно. И все смеются, только я не смеюсь, потому что всем своим видом хочу Любе показать: а мне вот нисколечко не смешно, не буду твоим дурацким шуткам смеяться.

Сейчас Люба с мальчишкой шли на пионерском расстоянии друг от друга.

Когда они скрылись, я опустила штору и снова стала читать. Но книга на ум не шла, а только Люба с мальчишкой лезли в голову.

Вот бы мне с каким-нибудь мальчишкой пройтись. Просто пройтись и чтобы меня в это время кто-нибудь из класса увидел. Пусть бы этот мальчишка был даже не модный, пусть. Только пусть он будет не из нашего класса. Я наших мальчишек не люблю — они злые.

Некоторые девчонки из нашего шестого уже с мальчишками целовались, а я даже ни разу ни с одним не прошлась. Однажды гуляем мы с Галкой, дело так же вечером было, только часом пораньше, а навстречу нам — толстая Милка из параллельного шестого. А на ее руке Часовщиков висит. Ее одноклассник, Ромка Часовщиков. Именно он на ее руке висит, а не наоборот, потому что Ромочка ростом маленький и худенький очень. Подошли мы к ним: «При-

вет!» Они: «Привет!», а потом Милка Часовщика в щеку — чмок. Мы прямо обалдели, а Милка запросто так говорит: «Знакомьтесь, девочки, это мой муж».

Ромка скромно улыбается, сам молчит. Милка его в два раза толще, лицо у нее круглое, как луна, а маленький Ромочка носом хлюп-хлюп, замерз, видно, малый.

Мы тогда и Милке позавидовали, только друг другу в этом не сознались. Переглянулись и разошлись по домам.

Назавтра в школе я на Любу взглянула. Ничего, нос не задирает. Некоторые девчонки как прогуляются с мальчишкой, так себя ведут, как будто в спортлото выиграли — зазнаются. А Люба ничего.

И мне вдруг страшно захотелось с ней помириться. Я стала вспоминать из-за чего же мы поссорились. И не смогла. Конечно, из-за какого-то пустяка.

В этот день в наш класс пришел новенький — Юра Васильев. Подтянутый, в светлой рубашке. Ну ясное дело, для наших мальчишек новенький — просто игрушка. Они тут же начали им забавляться. Со всех сторон его мелом обляпали. Обмажут ладони мелом — и ляп — по новенькому. Скоро он весь в белых пятнах ходил. Сперва пытался отряхиваться, но было бесполезно. Тогда он стал отталкивать мальчишек, но рук на всех не хватало. Бросил. Так и сидел на уроках — весь в мелу, с красным лицом, расстрепанный. От его подтянутости и аккуратности не осталось и следа. Мы говорили мальчишкам, чтобы они кончали издеваться над человеком, но парням наши уговоры — что вчерашний снег.

На физике я увидела, как Юра подпрыгнул на своем стуле. И сразу же за его спиной беззвучно, чтобы физичка не заметила, залился смехом Витька Чирков. Вот снова рука Чиркова нацелилась на Юрину спину, а в руке его был циркуль, и он этим циркулем Юру ткнул. Новенький снова подпрыгнул.

Он опять не пожаловался.

Мне было страшно жалко Юру Васильева, но и я ничего не говорила учительнице, не буду же ябедничать. Я подумала, какой же этот Чирков жестокий, прямо садист.

Оказалось, не только Чирков.

На перемене мальчишки обступили Васильева, что-то с ним делали и быстро отскакивали в сторону. А потом Юра вырвался из их кольца, схватил из своего стола сумку и бросился вон из класса, плачущий и заляпанный мелом.

После уроков к нам пожаловал директор. Он толстенький, как Винни-Пух, совсем еще молодой. Добрый. У нас его никто не боится. Вот он и говорит:

— Мальчики, которые кололи Юру Васильева, останьтесь.

Я сразу поняла, чем кололи: циркулем. Значит, Чирков им пример показал и на перемене они так мило развлекались.

А девчонки не знали, ахнули:

— Чем кололи? — спрашивают у директора.

— Они знают.

— А чего? Мы не кололи,— закричал Пархачев, а я подумала, что он-то уж первый колол. Лицо у Пархачева как у ангелочка, но он тако-ой злой, просто дьявольский ребенок.

Я же говорю: ни за что не хочу дружить с мальчишкой из нашего класса.

Мальчишки остались с директором беседовать, а нас домой отпустили.

В раздевалке я все на Любу поглядывала. Как же с ней помириться? Тут из ее рук выпала варежка.

— У тебя варежка упала,— говорю ей и чувствую, что сильно краснею.

Люба на меня глянула, во взгляде — ровно ничего, подняла варежку и вышла из раздевалки в обнимку со своей шубкой.

На крыльце меня Галка ждала, нам по пути.

— Ой, Галка, я расписание хотела уточнить. Я счас!— кричу ей и снова скрываюсь в школе.

Это я ждала, чтобы Люба вышла.

И вот она вышла, а ведь с Галкой она не ссорилась, и пошли мы домой втроем: Галка посередке. О новеньком разговаривали, о том, какие мальчишки у нас подлые.

— Вот увидите, он больше к нам не придет,— сказала Люба.

— Правильно сделает,— поддержала я.— С такими зверями вместе учиться.

— Да мы тоже хороши,— добавила Галка,— окружили бы новенького, через нас бы они не стали его обмазывать.

— Ладно обмазывать, но уж колоть...

Спорить тут было нечего.

Я все ждала, что Люба нам похвастается: мол, я, девчонки, вчера домой с тем-то и тем-то возвращалась. Ведь все девочки этим бахвалятся. Но Люба об этом — ни гу-гу.

За разговором мы помирились. И можно было уже запросто спросить: с кем это, Любочка, ты вчера шла? Но я все почему-то не решалась.

Потом Галка свернула к своему дому, мы с Любой остались одни, и все никак не могли наговориться, вот что значит целый месяц быть в ссоре.

Мы договорились встретиться вечером, побродить по городу и еще поболтать. Вот тогда и спрошу — думала я. Этот вопрос о мальчишке во мне словно гвоздь сидел, уж такие мы девчонки на этот счет любопытные.

И вот мы гуляем по тихим заснеженным улочкам. Наш город вечером очень тихий. Ну прямо как мышонок. А улицы светлые-светлые. Горят голубые и розовые фонари. И вот в этом тихом городе я Любе тихонечко говорю:

— Люба,— сама робею,— скажи мне только честно: хотела бы ты дружить с мальчишкой?

— Успеется,— говорит Люба, и я очень этому удивляюсь. Ос-

тальные девчонки страсть как хотят с ними дружить.— Нам только по двенадцать.

— Ты так говоришь потому, что сама уже дружишь с мальчишкой.

— С кем?— удивляется теперь Люба.

— Ну как же,— я хитро сощуриваюсь.— Я тебя вчера с ним видела. Из окна. Вы проходили мимо нашего дома.

— А!— Люба махнула рукой.— Так это же Колька Терентьев. Вчера у нас репетиция кончилась поздно, и он меня провожал.

— Ну все-таки,— говорю я и чувствую, как мне легче становится. Значит, это не любовь-дружба, а просто ра́зовое провожание.

Коля Терентьев — ее товарищ по театральному кружку.

— Что тут такого?— засмеялась Люба.

И тут из-за поворота навстречу нам вышло двое: мальчишка и женщина. Мальчишка, наверно, ее сын, был примерно одного с нами возраста. И вот по мере того, как они приближались, мы видим, что мальчик — это наш новенький, Юра Васильев. И еще я вижу, что Юра тоже узнал нас и стал смотреть с ужасом. Он даже отошел на край тротуара, когда мы с ним поравнялись.

Я говорю:

— Ты обратила внимание, как он на нас глядел? Мы, что, виноваты?

— Он больше к нам не придет,— снова сказала Люба.— Ненавижу наших мальчишек. Ни один за новенького не заступился, ни один!

Я думала так же.

Тут Люба схватила меня за руку и резко повернула в противоположную сторону.

— Побежали!

— Куда?

— Побежали!

— Да куда, куда? Я не хочу!

— Надо новенького догнать!

Я не поняла, зачем нам надо догонять новенького, но больше не противилась.

— Эй!— крикнула Люба.— Юра, постой!

Женщина с мальчиком остановились. У обоих на лицах выражался вопрос, а у новенького еще и страх.

— Чего вам?— тихо спросил он, когда мы подошли совсем близко.

— Извини нас за тех дураков,— сказала Люба.— Извинишь?

Юра повернулся без всякого ответа. Следом повернулась его мать. И оба продолжали путь. Новенький плечи поднял, руки в карманы сунул, словно ему стало холодно. Мама его, наверно, все о нашем классе знала, наверно, Юра ей рассказал. Взгляд у нее был

немножечко жалостный, словно она жалела нас, что мы учимся в этом классе.

— Больше он не придет,— в который уж раз сказала Люба.

Ночью я долго не могла уснуть. А потом уснула и мне приснился сон: по заснеженной улице иду я с Юрой Васильевым.

И теперь мне хочется дружить только с ним. Не потому, что он мне приснился. Наверное, мне хочется доказать, что в нашем классе не все люди жестокие.

Я часто прохожу по той улице, где видела Юру с мамой. Но никогда его не встречаю.

ДОРОГА НА ЭКСКУРСИЮ И ОБРАТНО

Странная была новенькая. Она зашла в класс вместе с учительницей с таким испуганным видом, словно попала в клетку к диким зверям.

— Знакомьтесь, ребята,— сказала Татьяна Михайловна.— Это Юля Никитенко. Жила в Краснодарском крае, теперь будет у нас. Сядь, Юля, на любое свободное место.

Новенькая, тараща светлые испуганные глазки, прошла на последнюю парту в третьей колонке.

Она не захотела сесть с Любой Моисеевой, аккуратной, с кружавчиками (и воротник у нее кружевной, и черный фартук) девочкой, ни с Сережей Разумовским — он сидел ближе всех к дверям, ни с Борькой Спириным — на последнюю, в первой колонке, парту,

Впрочем, с Борькой Юля и не смогла бы сесть. Когда учительница предложила ей выбрать свободные места, Борька демонстративно придвинулся к краю, да еще и спиной повернулся: «Ко мне не смей».

На перемене, как водится, новенькую окружили девочки и засыпали вопросами:

— Ты в городе жила или в деревне?

— Ты какой язык учила?

— А здесь ты где живешь?

Новенькая молчала, глядя на всех одинаково испуганно.

Девочки пожали плечами, отошли от нее, а Борька Спирин сказал Татьяне Михайловне, записывающей что-то в журнал:

— Татьяна Михайловна, ее по ошибке в нашу школу взяли. Она же немая, вы что, не видите?

Он обернулся к Юле, и когда она на него взглянула, стал двигать перед своим носом пальцами, потом скривил рот и спросил:

— Эй, Никитенко или как тебя там? На пальчиках будем разговаривать?

Юля покраснела, а верный друг Спирина Колька Самохвалов засмеялся, тоже стал шевелить пальцами и лопотать что-то по-немецки.

— Спирин, оставь новенькую в покое,— строго попросила учительница.— Дай ей привыкнуть к коллективу.

Юля привыкала трудно. По-прежнему молчала. Ходила как-то бочком и вообще старалась быть как можно незаметнее.

Ее голос пятиклассники услышали только через неделю. На уроке географии Юлю вызвали отвечать о тропических зонах Африки. Юля вышла к доске, взяла указку и громко заговорила:

— Тропические пояса Африки располагаются...— в слове «располагаются» новенькая выделила звук «Г»— он получился средним между «Г» и «Х». Это южное произношение было непривычно для живущих на Севере ребят и вполне достаточным для того, чтобы Спирин, а затем и Самохвалов, захихикали.

— РасполаГаются,— бормотнул с места Спирин, по Юлиному выделяя «Г».— Где располаГаются?

Юля залилась краской, потупилась и замолчала.

Учительница географии постучала по столу обратным концом шариковой ручки, осуждающе глянула на Спирина и обернулась к новенькой:

— Ну-ну. Продолжай.

Юля стала рассказывать дальше, но теперь еле слышно. Указка в ее руках забегала неуверенно и словно бы тоже испуганно. Она стала часто ошибаться и получила «тройку».

Наверное, в любом классе есть мальчишки и девчонки, которые любят над кем-то посмеяться. Да не просто, а зло. Особенно, если этот «кто-то» безответный человек.

В пятом «а» такими насмешниками были Борька Спирин — крепкий широкоплечий мальчишка с вихром на голове — и Колька Самохвалов — маленький и верткий. Вообще-то Колька сам по себе был незаметный. Наглость и ехидство просыпались в нем только тогда, когда рядом был Спирин. И насмешничать Колька никогда не начинал. Начинал Спирин, а Колька тут же подхватывал.

В начале сентября было, например, вот что. Врач выписал Тане Сорвачевой очки и она пришла в них в класс. Спирин только ее увидел и сразу:

— Ох Танюлечка-красотулечка! Стеклышки-то как у нее сверкают! Как солнышки!

Тут же подлетел Самохвалов:

— Эй, Сорвачева, я тебе в четырех глазах не двоюсь?

Они заставили Таню снять очки. Она до сих пор их носить боится, щурится невозможно, когда с доски переписывает.

Больше всего от Спирина и Самохвалова попадало Димке Тимушеву. Он был толстый, и в этом заключалась вся его вина перед дружками. Иначе как Матрацем они Димку не называли. На пере-

менах ставили ему подножки, сажали на урны, проходя мимо его парты после звонка на урок, когда учителей еще не было в классе, сметали на пол Димкины учебники и тетради.

Дать сдачи Димка боялся, мучительно переживал все в себе.

Сейчас, когда появилась новенькая, Димку оставили в покое.

Юля была тише воды, ниже травы. Она даже девочек стеснялась, на переменах стояла у подоконников одна-одинёшенька. То, что она не умела постоять за себя, было видно с первого взгляда. Эти ее вечно испуганные глаза...

Дразнить Юлю доставляло Спирину большое удовольствие. Она так густо краснела, а в глазах, кроме испуга, появлялась еще и мольба. Мольба о том, чтобы он, Борька, перестал ее мучать. А он не переставал. Не хотел и не переставал.

Однажды на перемене Спирин и Самохвалов остановились напротив Юли и начали переговариваться так, чтобы она слышала.

— Какая у нас новенькая красивая,— медленно, с расстановкой говорил Спирин и с удовольствием наблюдал, как лицо Юли заливается краской, а в глазах появляется эта самая мольба.

Юля была некрасива, и, наверное, знала об этом. У нее небольшие, всегда настороженные глаза, вздернутый нос. Головка маленькая, на тоненькой шее... В двенадцать лет даже хорошеньким девочкам кажется, что они дурны, а уж некрасивые считают себя вообще уродцами. Такой возраст...

Объяснить бы им, что через год, через два, через три в лицах появится мягкость и женственность, и каждая девочка будет по-своему хороша...

Мальчишки, вприщур глядя на Юлю, притворялись, что любуются ею. Самохвалов даже вздыхал как влюбленный.

Юле хотелось провалиться сквозь пол со своим незврачным лицом.

— Юля, подари мне свою фотографию,— ласково просил Борька.— Я младшего брата напугаю.

Самохвалов взвизгивал от удачной, как ему казалось, остроты Спирина. Широко открыв рот, запрокинув голову, громко и тоненько ржал.

Девочки, стоявшие у другого подоконника, с сожалением смотрели на Юлю. Кто-то из них заметил:

— Дурак ты, Спирин. И не лечишься.

Девочкам было жаль Юлю. Но что они могли сделать? Спирин даже учителей не слушался.

— Юля, иди к нам!— Люба Моисеева махнула рукой, на которой выделялся белый кружевной манжет.— Чего ты там одна встала?

Юля не подошла.

Тогда Люба взяла ее за руку и потянула в сторону девочек. На лице новенькой появилась робкая, какая-то виноватая улыбка. Она пошла за Любой, слабо вырывая руку, и всю оставшуюся перемену молча стояла среди девчонок.

А на другой перемене снова одна. Боялась она сама к девочкам подходить, что ли?

Больше всех переживал за новенькую Димка Тимушев. Он-то знал, каково это, когда смеются над тобой. С одной стороны, Димка был, конечно, рад, что его оставили в покое и переключились на Юлю, с другой... На уроках Димка оглядывался на бледное личико новенькой, и что-то похожее на жалость поднималось в его душе. Димка представлял себе, как не хочется этой худенькой девочке по утрам собираться в школу, в их класс.

Перед октябрьскими праздниками ребята поехали на экскурсию на птицефабрику. К школе подкатил автобус с синей полосой, ребята с шумом забрались в него, и автобус тронулся. Учительницы с пятиклассниками не было. На птицефабрике их должен был встретить папа Нины Семушиной, их одноклассницы. Он там работал начальником какого-то цеха.

В автобусе за Юлей сели Спирин и Самохвалов.

Димка увидел это и у него сразу испортилось настроение. И предчувствие не обмануло его. Не успел автобус выехать из города, как Спирин заговорил вкрадчивым, не предвещавшим ничего доброго, голосом. Гадости он всегда говорил ласково.

— Юля, сейчас мы тебе курочек покажем. Ты видела курочек, Юля? У них ножки тоненькие.— Борька немного помолчал и добавил: — Как у тебя.

Самохвалов подпрыгнул на сиденьи от восторга, захохотал во всю силу. Некоторые тоже засмеялись, и Спирин самодовольно улыбнулся. Он любил быть в центре внимания, поэтому и говорил громко. Пусть все слышат.

— Юля, смотри, какая деревня,— продолжал он минут через пять, кивая на пригороды за окном.— Юля, а вон дядя в валенках идет. Ой, какой хороший дядя! Юля, а это не твой папа? А где твой папа, а Юля?

Новенькая молчала, только кусала губы. Видно, сдерживала слезы.

Люба Моисеева не выдержала.

— Слушай, Спирин, какое твое дело? Она же твоими родителя не интересуется?

— У меня с родителями в порядке,— скривился Спирин.— А Никитенко у бабки живет, я знаю!

— Мамочка с папочкой еле на улицу выбросили,— вякнул Самохвалов.

Как хотелось Димке залепить Кольке и Борьке по физиономиям. Да так, чтобы они завопили! Но Димка не смел, сидел тихо, как мышка. На душе у него кошки заскребли, когда он услышал от Спирина, что новенькая живет у бабушки. Значит, ей еще труднее, чем было ему, когда его тоже доводили. Он-то живет с мамой и папой.

На птицефабрике Люба взяла Юлю под руку.

— Ходи со мной.

Но здесь дружная парочка к Юле не приставала. Наверно потому, что было интересно. По цехам их водил Нинин папа, невысокий человек в белом халате, из кармана которого торчали очки.

— Вот тут у нас ясли,— громко сказал он во втором цехе, стараясь перекричать писк тысячи двухнедельных цыплят, которые пищали так, что с непривычки ребята закрыли уши. Цыплятам насыпали корм в движущуюся кормушку, и гвалт еще больше усилился. Малыши ринулись к кормушке, подминая друг друга, и стали клевать так торопливо, словно боялись, что всем не хватит.

— Какие смешные,— засмеялась Люба.

Один цыпленок, будущий петушок, с крошечным зазубренным гребешком на голове, ко всем задирался. Он с разгону влетал в столпотворение у кормушек, поднимая панику и еще больший крик. Птицы разлетались от него в разные стороны, а петушок клевал немного в одиночестве, потом ему становилось скучно, и он снова бежал разгонять.

— Смотри, на Спирина похож!— шепнула Люба Юле, кивнув на задиру.

И Юля, сравнив петушка с Борькой, невольно рассмеялась. Спирин с его вихром на голове, и правда, был похож на тонконогого задиристого петушка.

— Тю, Никитенко смеется!— Спирин удивленно уставился на Юлю.— Ребя, видели? В курице себя узнала, я же говорил!

— Не себя, а тебя!— весело крикнула Люба.

— Че-го?— нахмурился Спирин.— Что ты сказала? А ну повтори!

Люба с Юлей переглянулись и снова расхохотались.

— Чего вы, а?— стали приставать ребята.

— Да вон, Спирин бежит!— Люба кивнула на цыпленка, который, растопырив короткие крылышки, снова мчался в бой.

Ребята захохотали.

— Точно! Спирин, это же ты!— крикнул Вовка Симпелев.

— Щас как дам!— Спирин замахнулся было на Вовку, но стукнуть не успел, ребята взорвались смехом, и Спирин поспешил посмотреть в сторону кормушек: что там происходит?

А происходило вот что. Тот цыпленок, на которого говорили «Спирин», всех птиц разогнал, а когда к нему подбежал какой-то маленький ощипанный птенчик, «Спирин» благосклонно разрешил ему покормиться около себя.

— Гляньте, ребята! Это же Самохвалов!

— Где, где?

— Да вон, маленький, тощенький, вместе клюют!

— Вот это да!

— Копия!

— Спирин, Самохвалов, как вы сюда попали?

— Ха-ха-ха!

— Сами вы,— Колька Самохвалов недовольно пробурчал это и стал оглядываться по сторонам: чем бы запустить в этого худень-

[illegible], чтобы отгонять от задиры? Тогда не будут ребята и его сравнивать с каким-то куренком. Но кидать ничего не пришлось. Петушку «Спирину» вскоре надоело соседство заморыша и он ни с того ни с сего погнал его от себя, то и дело стараясь побольнее клюнуть.

Пятиклассники развеселились еще больше.

— Самохвалов, чем ты своему дружку не угодил?— спросила Люба, давясь от смеха. А другие и говорить ничего не могли.

Юля смеялась вместе со всеми и сейчас, без этой настороженности в глазах, была даже симпатичной. Димка смотрел на нее и радовался.

Только Спирин и Самохвалов не смеялись, а хмурились. Спирин смотрел исподлобья, да не на птиц, а в сторону.

В автобус все садились веселые. Люба села вместе с Юлей. Самохвалов и Спирин разошлись по разным углам. Наверно, думали, что если сядут отдельно, то их наконец-то перестанут сравнивать с тощими цыплятами.

— Ребята, слушайте!— Нина Семушина похлопала в ладоши.— Давайте через месяц снова на фабрику приедем! На подросшего Спирина посмотрим! Я с папой договорюсь!

— Ха-ха! Через месяц из него уже цыплята табака приготовят. Слышь, Спирин?— весело крикнул Сережа Разумовский.

— Щас ты у меня сам цыпленком табака будешь,— зло пробормотал Борька.

Злился он от бессилия. Странно, но ребята почему-то не боялись, подшучивали как хотели. Ну ладно, если бы смеялся один, с ним легко было бы справиться. А когда смеется весь класс...

Димка смотрел на одноклассников — на Любу и Юлю, на хмурого Борьку, на притихшего, забившегося в угол Самохвалова и удивлялся: неужели Спирина можно усмирить?

Раньше он думал — нельзя. А сейчас и сам, пожалуй, не будет бояться Борьки. Тем более — Самохвалова. Пусть только сунутся...

СТАРЫЙ ОЛЕШ

Страшный сон приснился Сереже: старый Олеш протягивал к нему дрожащую руку и никак не мог дотянуться. Из глаз старика катились слезы, губы кривились и хотели что-то выговорить.

— Дедушка Олеш, я тебя не боюсь!— испуганно крикнул Сережа и проснулся.

Он еще долго лежал, зажмурившись. А если и правда Олеш стоит у кровати?..

«Я же хотел перед ним извиниться!— вспомнил Сережа и открыл глаза.

Была белая, северная ночь. В распахнутом окне сражалась с ветром занавеска. Сережа отодвинул ее, чтобы закрыть окно, и чуть не вскрикнул: он увидел, как на скамейке перед своим дряхлым домом, врастающем в землю, как-то странно сидит Олеш. Голова его была запрокинута назад, на темную бревенчатую стену, словно дом, ровесник Олеша принял старика на свою грудь.

Догадка пострашнее сна кольнула Сережу в сердце.

У него не хватило духу громко позвать маму. Дрожа всем телом, он осторожно спустил ноги с кровати и босиком побежал в ту комнату, где она спала.

— Мам, мама!— Сережа потряс ее за плечо.

— Что случилось, сынок?— мать подняла с подушки растрепанную голову.

— Там... там. Олеш умер!— отчаянно прошептал Сережа.

Мать взглянула в окно, охнула и начала суетливо одеваться. Сережа вернулся в свою комнату, с головой забрался под одеяло и заплакал.

Он чувствовал себя виноватым в смерти старика.

Никто из ребят ничего не знал о прежней жизни старика. Никто даже из взрослых, не мог сказать, сколько Олешу лет. Сам он уже лет двадцать не разговаривал. И опять же непонятно было — то ли не мог, то ли не хотел. Самые старые старики в поселке рассказывали, что, когда они родились, Олеш уже был взрослым.

В углах глаз старика ветвились два дерева морщинок. Их зимние вершины спускались на впалые щеки и соединялись с другими такими морщинами — на лице старика целый лес. Маленькие голубые глазки напоминали старицы — когда-то большие и ясные, а теперь заросшие тиной и ряской.

Олеш жил один. Просыпался рано, до солнца, опираясь на палку, выходил на улицу. Медленно передвигая ноги, обутые в старенькие пимы, шел к широкой скамье, сработанной самим же в давние-давние времена. Много лет это был его единственный путь — от крыльца к скамье и обратно. Он по-стариковски осторожно садился, клал скрещенные руки на палку, воткнутую в землю между колен и надолго замирал. Спал ли, думал ли?

За Олешем ухаживала его дальняя родственница Зинаида. Три раза в неделю она приходила готовить еду и подметала пол. Старика она немного побаивалась. Мало того что он ни слова не говорил, но еще и смотрел на нее странно, жалостно, словно молил о чем-то.

— Что, дедушка?— заботливо спрашивала Зинаида.

Старик молчал, а взгляд его говорил что-то очень важное. Зинаида не понимала — что.

Сережа вспомнил: когда соседская трехлетняя Танюшка начинала плакать, мать сердито пугала ее:

— Пореви мне, пореви, сейчас Олеша позову!

Танюшка тотчас же замолкала. Наверно, и других детей пугали стариком, потому что даже самые смелые мальчишки боялись его.

Вчера днем веснушчатый Левка Огнев сказал Сереже:

— Знаешь, почему Олеша все боятся? Потому что он колдун! А я вот колдунов не боюсь!

Чтобы доказать это, он бросил в старика палкой. Палка несколько раз перевернулась в воздухе и упала к ногам Олеша. Тот не шелохнулся.

— Эх ты!— сказал Сережа.— Храбрец-удалец — палками швыряться! А ты вот так докажи: подойди к Олешу и постой около, пока я не досчитаю до ста. Идет?

— Ишь, хитрый какой!— сощурился Левка.— Сам, небось, ни за что не подойдешь?

— Я не подойду?— закричал Сережа.— Я, между прочим, палками не кидался!

— Ты трус! Ты, Серый, трус!

— Я трус?!

Сережа возмутился и решительно направился к Олешу. Внутри у него все холодело от страха, но повернуть назад было нельзя: Левка-конопатая ехидна — обсмеет, проходу не даст.

Сережа подошел близко к Олешу и нарочно громко, чтобы Левка слышал, сказал:

— Здравствуй, дед, сто семьдесят лет!

Старик услышал. Медленно поднял голову и увидел Сережу. Олеш смотрел прямо на него, а Сереже казалось, что стариковский взгляд скользит мимо. Он обернулся, чтобы проследить за взглядом старика и заодно показать конопатому трусу язык.

В тот же миг Сережа почувствовал, как холодная старческая рука легла ему на затылок и медленно поползла ко лбу. Сережа замер. Никогда в жизни он не испытывал такого ужаса! Рука Олеша погладила светловолосую Сережину голову и легла на свое место, на палку.

«Что же там Левка молчит?— думал Сережа, глядя на Олеша расширенными глазами.— Неужели еще не досчитал до ста?»

И вдруг Сережа увидел, как из глаз Олеша скатились две крупные слезы. Они сползли по руслам морщинок и заблестели в реденькой белой бороде.

— Сто!— крикнул Левка, но пораженный Сережа не мог оторвать глаз от лица старика, на котором в дебрях морщин медленно ползли слезы.

— Сто!— испуганно заорал Левка, удивленный, что Сережа не бежит от старика сломя голову.— Серый, сто!

Внезапная жалость к старику переполнила всего Сережу, и ком подступил к горлу. Чтобы не разреветься, он резко повернулся и побежал.

Левка ждал за забором.

— Ты чего там застрял?— испуганно спросил он.— Я на вся-

кий случай, смотри, что приготовил.— На Левкиной ладони лежал обломок красного кирпича.— Я думал, этот колдун тебя заколдовал!

Сережа разозлился и изо всех сил толкнул Левку. От неожиданности Левка упал. Он даже сдачи не дал — так удивился, даже не заорал на Сережу, только спросил удивленно:

— Рехнулся ты, что ли?

Мрачный, Сережа пошел домой. Его дом был напротив избы Олеша. У крыльца оглянулся: старик продолжал смотреть перед собой, словно все еще видел Сережино лицо.

И Сереже очень захотелось вернуться назад и попросить у старика прощения — и за Левкину палку, и за все нелепые страхи перед ним, беспомощным и совсем одиноким.

Но он не вернулся. Левки постеснялся.

— Почему я не вернулся, почему?— уткнувшись в подушку, шептал Сережа сквозь слезы.— Что мне дурак Левка? А теперь Олеш умер, и никогда, никогда не узнает, что я хотел перед ним извиниться!

На дворе зафырчала машина. Это «Скорая помощь» увозила старика.

Остался дом. Казалось, он стал еще быстрее врастать в землю, словно спешил вслед за хозяином.

Сережа не мог глядеть на этот дом.

ИЗ ДНЕВНИКА СОВРЕМЕННОЙ ДЕВОЧКИ

Жизнь моя набирает скорость!

Я чувствую это в себе! С годами время летит быстрее и быстрее, мне пятнадцать, и я чувствую, как проносится время вместе со мной.

Где-то позади, еще совсем рядом, но все-таки позади мое детство. Смешное, лукавое, милое детство с пушистыми сугробами, куда мы прыгали с сараев; с синей-пресиней речкой, где бултыхались в летние дни; с палатками и кострами школьных походов.

В детстве остались друзья-мальчишки. Это сейчас я с ними почему-то не общаюсь, а в детских играх признавала только мальчишек, никогда не водилась с послушными девочками. Наверное поэтому у меня наполовину мальчишеская душа. Я не умею варить, шить и вязать. То, что положено девочкам, ничего не умею. И не буду, не желаю учиться. Тратить время на эту чепуху?

В шестом классе классная жаловалась маме: «Ваша дочь на домоводстве не хочет ничего делать. Вы ее иголку держать не научили!»

Во-первых, иголку держать я умею. Во-вторых, мама тут ни при чем. Она со мной сама мучается, поделать ничего не может. Такой у меня принцип: не хочу девчоночьи дела выполнять, и все тут!

Ну зачем, скажите, шить? И так тряпок полно. А когда я вырасту, в магазинах все модное будет. Варить — а столовые и кафе есть.

Одноклассницы мне вопрос:

— А как же семья?

— А ну эту семью,— отвечаю.

Женщины обложатся в семье домашними делами и, тпру, лошадка, застопорило: кастрюли, стирка, уборка комнат.

Что за жизнь?

Не-ет, я всегда буду делать то, что мальчишки: узнавать!

Буду работать на любимой работе, а в свободное время — книги, вот так-то.

Была бы мальчишкой, умела бы делать все девчоночьи дела, а сейчас назло не буду.

И пусть все смеются.

Позади детство.

Витя тоже остался в нем.

Удивляюсь, как я могла влюбиться? Наверное, это половинка девчоночьей души разглядела в нем что-то необыкновенное, красивое, а он...

Что он на самом деле?

Ну волосы у него пышные, ну ресницы загнутые. Ну и что?

Ну и что, что он стихи любит? Ну и что, что наизусть знает?

Ну и что, что мы на звезды смотрели, и он мне Стожары показал?

Ну и что, что я ночами не сплю и о нем думаю?

Он-то обо мне не думает.

Он с Динкой Пышкиной ходит, а со мной лишь здоровается. Кивнет, как по заказу, и — мимо. Он, наверно, и Динке стихи читает. И с ней на звезды смотрит. Только в городе-то звезды плохо видны, не найдут они Стожары. Маленькое это созвездие, крошечное, лилипутское.

Пусть он с ней дружит, пусть ей стихи читает.

Ну и что, что после него мне ни один мальчишка не нравится?

В школе мы не замечали друг друга, а летом подружились. Наши дачи в поселке рядом стоят. Родители днем уезжали на работу, а мы оставались. Ну не все время вместе, конечно. Каждый дома хозяйством занимался (я только огород поливала), читали, а гуляли вместе.

О чем только не говорили!

А однажды, у реки, помню, еще по ней плоты плыли, он меня поцеловал.

Это быстро случилось. Раз в щеку — будто клюнул — и сразу отстранился. И все по-прежнему осталось — река, небо, плоты еще не проплыли, но это только внешне. Внутри же все переменилось, страшно так стало. Вите, видно, тоже, потому что мы тотчас же разошлись и целых два дня друг от друга прятались.

А потом снова стали гулять, только теперь я от него на «пионерском» расстоянии держалась.

Еще чего — целоваться. Я не как девчонки, которые только о поцелуйчиках думают.

Витя сказал:

— Знаешь, ты красивая,— и дальше хотел продолжать, но я его сразу одернула:

— Не болтай чепухи, ты же не девчонка.

Пусть девчонки о красоте говорят. Для меня и моего друга внешность не должна иметь ровно никакого значения.

Витя пожал плечами и замолчал. А потом мы пошли на лодке кататься, и он рубашку порвал. Зацепился за уключину рукавом. И попросил, чтобы я ему рубашку зашила.

Тут я ему свои принципы и выложила. И что шить не хочу, и варить не умею, и семьей обзаводиться не буду. И пусть он сам себе рубашку зашьет.

Как вытянулось Витино лицо, умора!

— Ты даешь,— сказал он и головой покачал.— Что ж, ты всю жизнь одна проживешь?

— С родителями.

— Родители, увы, не вечны.

— О таком далеком времени я думать не хочу.

— Ну и зря. Без семьи человек ничто.

— Как это — ничто? Я пользу обществу приносить буду.

Витя засмеялся.

— Ну я домой,— сказал,— рубашку зашивать.

А если честно, то мне хотелось зашить эту его рубашку. Чуть вдогонку не бросилась.

Когда он к нам чай пить приходил, мне самой хотелось ему чаю налить и за ним помыть чашку. Но я специально ждала, пока это сделает мама.

— Ты чего не помогаешь?— спрашивал Витя, а когда я ему свои правила объяснила, он уже не спрашивал, а сам помогал моей маме убирать посуду.

Правильно. Была бы я мальчишкой, тоже бы помогала, а сейчас не хочу.

И пусть он с Динкой дружит. Это не самое страшное.

О самом страшном я где-то вычитала. «Самое страшное в жизни — перестать желать». И я с этой фразой сразу же согласилась. Если человек избавится от желаний, он умрет или будет топтаться на одном месте.

А я очень желаю. Приносить людям пользу. Еще не знаю где — на стройке, в самолете или на корабле. В женские дела не буду соваться, обязательно выучусь мужской профессии, еще успею выбрать.

А если была бы мальчишкой, работала бы, знаете, где? В детском саду. А что? Я в газетах читала — работают парни, и хорошо. Я почему-то лупоглазую малышню люблю. Как увижу — ревет из них кто-то — подойду, скажу что-нибудь, он сразу реветь перестанет. Главное, не сюсюкать с ними, по-человечески говорить, они ведь все понимают.

Недавно в автобусе девчонка какая-то ревела, мать на нее шикала, шикала, а разве успокоишься, когда на тебя шипят?

Я эту девчонку на руки взяла, она тут же успокоилась.

Жалко, что я не мальчишка.

Жить! Приносить пользу! Вот о чем я мечтаю.

И пусть кончилось детство, и пусть Витя остался в нем, и пусть приходит жизнь настоящая, пусть торопится время!

БЕГЛЕЦ

Аркашка летел по школьному коридору на полной скорости, как летают после наскучившего урока нормальные десятилетние мальчишки. Нет, он никуда не спешил, впереди была большая перемена — целая вечность времени. Он летел, потому что летелось, руки и ноги просились в полет, Аркашка летел, ну ладно уж, пусть бежал, пригнув голову к плечам и ничего не видя перед собой. Так бежал он не в первый раз, а почти после каждого урока, и всегда обходилось, он никого не сбивал с ног, умело огибал встречающиеся на пути препятствия — углы, мелких первоклашек, учителей... И сейчас бы все обошлось, если бы не линолеум, которым был покрыт пол в коридоре. Весь он был составлен из цветных квадратов, и вот угол одного такого квадрата загнулся. Аркашка споткнулся об него на полной своей скорости и стал молниеносно падать.

Упал он прямо на учительницу Юлию Ивановну, вернее, не упал, а угодил ей головой в живот. Он не знал, что ее зовут Юлия Ивановна, не знал даже, какой предмет она преподает, эта учительница его не учила, просто ему было известно, что вот она — учительница, он аккуратно здоровался с ней при встречах. Но сейчас это было неважно, а важно и ужасно было то, что Юлия Ивановна упала и потеряла сознание. Секунду Аркашка стоял, ничего не соображая, а когда упавшую учительницу окружили, он повернулся

пустился бежать в обратную сторону и отчаянно внутри себя ре-
шил: «Убил учительницу!»

Он вбежал в один туалет, потом — в другой и стоял у подоконника и весь трясся, но не от страха, а от ужаса перед содеянным.

Прозвенел звонок, коридоры затихли, но ненадолго. С шумом распахнулась дверь и повернувшийся Аркашка увидел одноклассников — Сережу Филимонова и Артема Шишкина.

— Аркашка, ну ты что!

— Аркашка, увезли училку, «Скорую» вызывали. Как это ты, а?

Аркашка молчал.

Мальчишки взахлеб рассказывали, что Аркашку все ищут и вызывают к директору, что в классе началась математика, но Сережу и Артема послали искать Аркашку.

Аркашка чуть с ума не сошел. Нет, он не боялся директора или классную руководительницу, то, что его будут ругать — этого он не страшился. Пусть, заслужил.

Учительницу «Скорая» увезла, вот что было страшно!

Как же ему теперь жить? Как ходить в школу, смотреть телевизор и все время знать, что из-за тебя погиб человек? Ах, зачем он так мчался, сколько раз им говорили: не бегайте, как угорелые, вас как много, убьете друг друга. И вот Аркашка убил.

Как был — без портфеля, без куртки — Аркашка бросился мимо приятелей на улицу. Хорошо, что ключ от дома на шее висел, на шнурке. Аркашка еще не знал, что будет делать, ведь родителям он тоже не сможет показаться. Это теперь стыдно, даже не стыдно, а просто невозможно, невозможно смотреть в глаза учителей, ребят, мамы, папы. Самое лучшее сейчас — это умереть, но ведь по желанию не умрешь.

И Аркашка решил скрыться.

Когда он это решил, ему сразу вспомнился другой городок. Аркашка еще не ходил в школу, они с мамой ездили к тете Лине. Ее городок был тихий-тихий. Маленький. Около тетиного дома была крохотная речка, и по ней плавали утки с утятами. Утята такие пушистые, с черными полосками на спинке и на боках. Глазки у них были такие хитренькие. Аркашка помнил, что тетю звали тетя Лина Сазанович, и адрес он помнил — улица Сосновая, 16. Мама писала тете поздравительные открытки к праздникам, вот откуда Аркашка помнил.

Городок находился недалеко от их города, это Аркашка знал. Они ехали туда поездом, и самолеты туда летают. Но ни на поезд, ни на самолет у Аркашки не было денег. Он решил пойти пешком. По шпалам. По шпалам ведь не заблудишься. Идти, наверное, придется сутки,— подумал Аркашка.

Дома он снял с крючка свою старенькую дачную куртку, шапку надел меховую. Снега еще не было, но ведь спортивную вязаную он оставил в школе, а совсем без шапки нельзя.

И пошел.

Со шпалы на шпалу ему не хватало шага, если только бежать. Но много Аркашка не пробежал — устал быстро. По рельсам идти скользко. Аркашка шагал, не думая о неудобствах. Упорно шагал и шагал, а в голове все сидела ужасная мысль об учительнице. Он проклинал себя: зачем бежал? Куда бежал? И запрокинутое лицо учительницы, когда она упала, рисовалось перед глазами.

Шел он часов пять. Показались многоэтажные дома, трубы лесопромышленного комплекса — их в городе знали все, и Аркашка понял, что всего-навсего дошагал до поселка Бумажный. Эх, если бы он знал, что дорога идет через этот поселок, то доехал бы до него на автобусе за полчаса.

Около станции его остановил милиционер.

— Далеко идешь, малыш?

— До Ошты.

— Это до города Ошты, что ли?

— Да.

— Далековато. Знаешь, сколько идти?

— Нет.

— Дней десять, если пешком.

Аркашка не поверил. Ведь если смотреть по карте, городок совсем близко.

— Пройдем-ка сюда,— милиционер завел Аркашку в маленькую комнатку на станции и сразу открыл, что Аркашку ищут, и что сейчас он отправит его домой.

Аркашку увезли на машине, как какого-нибудь начальника.

Дома о случившемся уже знали. Мама сказала, что учительницу из больницы выпустили. Аркашка ее, конечно, сильно ушиб, но слава богу, все обошлось. Теперь он не будет носиться как сумасшедший. Нет худа без добра,— сказала мама.

Ночью Аркашка спал неспокойно, всхлипывал, ему казалось, он вовсе не спал. Дождался утра и, хмурый, отправился в школу. Только появиться там Аркашка не мог. Родители ушли на работу, и мальчик вернулся домой. Взял мешок сухарей — мама делала их из высохшего хлеба, бросил в рюкзак, и снова — в дорогу. Но сейчас он решил запутать следы. Поехал в аэропорт и просидел там до вечера. То к одному взрослому подсядет, то к другому. Два сухарика сгрыз. После программы «Время» Аркашка решил, что на железной дороге его уже не будут искать — все сроки вышли, он бы уже давно Бумажный прошел. И может быть, половину пути до Ошты.

До Бумажного Аркашка доехал на автобусе, выбрался на железную дорогу и вновь зашагал по шпалам. Ночью. Под луной.

И опять его остановили на каком-то полустанке. Опять доставили домой. Мама плакала, отец удивленно кряхтел.

Утром мама сама отвела его в школу. За ручку, как маленького.

Аркашка ничем особым в школе не выделялся. Маленький, худенький. Не умел врать. Однажды проходит мимо какого-то класса, а в дверь двое озорников ногами стучат. Протарабанили, и за дверь спрятались. Выглянула возмущенная учительница, тут как раз Аркашка проходил.

— Ты что это дубасишь?— спросила учительница. Аркашка видел, кто это стучал, простодушно ответил:

— Это вон те мальчишки.

— Что-о?— заорали мальчишки.— Он это, он!— в Аркашку пальцами тычут.

— Стойте здесь и ждите,— говорит учительница.— После урока я с вами разберусь.

Те двое убежали, а Аркашка стоял. Ждал. Звонок с урока прозвенел, Аркашка ждет. Из класса ребята повыбегали, учительницы нет. Аркашка ждет. Когда звонок на другой урок прозвенел, только тогда ушел.

Никаких хлопот Аркашка учителям не доставлял. Но недавний случай с учительницей, а теперь странные попытки к побегу разбудили в Аркашкиных одноклассниках любопытство. Все оглядывались на него с молчаливой заинтересованностью. Расспрашивать о чем-либо учительница не велела.

Аркашка покорно отсидел положенные пять уроков, за ним пришла мама и повела домой. Накормила обедом. Аркашка покорно, но без аппетита, ел.

После обеда мама ушла на работу, взяв с Аркашки обещание, что он ни-ку-да не уйдет. Аркашка пообещал, но как? Он лишь вяло кивнул.

Как только мама ушла, он взял из общего кошелька шестьдесят рублей — деньги на «общее хозяйство» хранились в «общем» кошельке — и отправился на аэровокзал.

Билеты на Ошты были, но тетенька в кассе продавать их мальчишке не захотела.

— Детям не продаем,— буркнула она и вытолкнула из окошечка протянутые Аркашкой шестьдесят рублей десятками.— Пусть подойдут родители.

Бесхитростный Аркашка не догадался попросить купить ему билет какого-нибудь дяденьку, ну а вдруг бы он купил? Аркашка снова встал в очередь.

— Мне к тетеньке нужно,— сказал он в кассу дрожащим голосом.— В Ошты, к тетеньке.

Кассирша не стала с ним спорить. Сняла телефонную трубку и позвонила куда-то.

И вот Аркашка снова у милиционера.

— Ну, брат, ты даешь,— сказал молодой милиционер с маленькими аккуратными усиками.— Ты у нас на утреннем совещании первым номером. Бежал парень в Ошты? Бежал. Поймали? Поймали. И вот, опять. Что ты там потерял, скажи на милость?

Аркашка молчал. Что он мог объяснить? Что не может встре-

титься с Юлией Ивановной? Что боится встречи с ней, как огня? Как он прячется от нее в школе?

Больше Аркашку не стали возить на машине. Вызвали папу с работы.

— Свозили бы парня в Ошты,— посоветовал папе милиционер.— Ей богу, жалко.

— Свозим! Свозим тебя, Аркашка, к тетке,— пообещал по дороге папа.— Ты только не кисни. Сколько ты там денег взял? Шестьдесят рублей? Ого! Дай-ка мне десяточку, я хлеб куплю. Подожди тут.

Папа скрылся за дверями булочной. Когда он вышел, сына на улице не было. Папа кинулся на аэровокзал.

Аркашка шагал по шпалам.

Неизвестно, сколько бы продолжалась эта история, если б не одно прекрасное утро.

В это прекрасное осеннее утро, когда дождичек моросил и прохожие зябко ежились от ветра, к Аркашке домой пришла Юлия Ивановна. Живая и невредимая. Мало того — она улыбалась.

— Здравствуй, Аркаша,— сказала Юлия Ивановна нежнейшим, как показалось мальчику, голосом.— Я пришла сказать тебе, что у меня все хорошо. И что я на тебя не сержусь.

Только после этого Аркашка пришел в себя и больше не бегал в Ошты.

МАЛЬЧИШКА

Мальчишка была девочкой. Задорный вздернутый носик, желтые в крапинку глаза, веснушки весело жили на ее лице. Конопушки были рассыпаны по нему, как цветы мать-и-мачехи в прогретых местах.

Мальчишка неизменно ходила в джинсах (иначе бы она так не называлась) и всей душой тянулась к мальчикам. Но они, преисполненные важностью к своему сильному полу, не принимали ее в свои удивительные, полные опасности и таинственности, игры. Девчонки не играли с ней потому... Разве не понятно? Она же мальчишка!

Да и не очень-то хотелось Мальчишке играть в их вечные куколки-пупсики, секретики, скакалки!

Мальчишка обиженно и гордо бродила по двору в одиночестве, превращала в мелкое крошево встречающиеся на пути стеклышки и бесцельно расшвыривала палки и щепки.

Она подзывала к себе бесхозных собак и, взяв на руки грязную дворнягу, разговаривала с ней, как с другом. Некоторое время двор-

кака чувствовала себя счастливой, нужной человеку. Но Мальчишку звали домой, и собака опять становилась свободной, могла идти куда угодно. Но пес не хотел свободы. Он долго не уходил от дома Мальчишки. Около дверей ее квартиры всегда околачивались одна-две облезлые псины. Дома их держать не разрешали, потому что бедные животные не умели пользоваться туалетом.

Когда Мальчишка, которую родители и учительница звали Люсей, окончила первый класс, ее отправили к тете в деревню.

На следующий после приезда день жители маленькой коми деревушки наблюдали такую картину: впереди мчалась Мальчишка в коротком желтом сарафане (по причине жары брюк ей не выдали), позади — армия босоногих пацанов с палками наперевес. Все кричали:

— Ура! За Чапаева!— И неслись по единственной деревенской улице к реке. Кипели лужи под худыми, в цыпках, ногами, рассыпались в разные стороны неуклюжие розовые поросята с ворчливыми хрюкающими родителями. С восторженными визгами бежали за малолетками возбужденные собаки, которых не прогоняли, а наиболее крупных пытались оседлать как горячих боевых коней.

О Мальчишкино счастье!

Деревенские мальцы оказались не такими важными, как городские. Пусть они были неухоженные, лохматые, пусть здорово ругались, мешая русские слова с коми, и сплевывали сквозь зубы. Пусть! Зато им было безразлично, что Мальчишка — это девчонка, зато она у них — командир! За такой можно бежать не только в ближний лес, где укрылась вражеская конница, но и на край света!

Когда Мальчишка получила ранение в бою — разодрала кожу на спине о забор с гвоздем — и когда тетя смазывала здоровенную царапину йодом, Мальчишка не ревела, а только морщилась и шипела как гусь. Пацаны с уважением взирали на ее мужество и через пять минут с саблями наперевес, с Мальчишкой во главе, снова мчались на воображаемых скакунах.

Все лето продолжалась бы прекрасная жизнь, но на беду Мальчишка встретилась с козленком.

По возрасту козленок был настоящей козой. У него рога и борода, как у взрослой козы, но сама была маленькая, как будто месячная, и расти дальше не желала.

Хозяева выгнали ее за ненадобностью. Молока коза не давала, резать ее не стали — раз недоразвитая, может, и мясо какое вредное.

Так и бродила по деревне бездомная козочка, цокая по деревянным мосткам черными туфельками, состоящими из одних каблучков. Она не голодала — травы было вдоволь, но все-таки тоскливо переживала свое бездомное состояние. Иногда останавливалась напротив какой-нибудь избы и жалобно блеяла.

Ее прогоняли.

Мальчишка познакомилась с ней ночью. Проснулась оттого, что в тишине, необычайно густой, негородской, кто-то жалобно мекал, словно звал маму.

Мальчишка вскочила с дивана, на котором спала, на цыпочках подбежала к окну и увидела в белой ночи трогательного своей малостью и смирностью рогатого бородатого козленка.

Через минуту Мальчишка была рядом, гладила, целовала в бородатую мордочку и вела за передние ноги в дом.

Утром тетя обнаружила безродного карлика, спящего на диване в ногах Мальчишки. Мальчишке влетело. Но она оказалась упрямой. Заявила, что раз козленок ничей, значит, будет ее.

Скоро она узнала его историю, и ее маленькое сердце заполнилось к козленку родственным чувством. Как и Мальчишку в городе, здесь его отовсюду гнали. Мальчишки, бойцы ее славного отряда, брезговали даже погладить, утверждая, что коза больная, раз такая недомерка.

— Сами вы недомерки!— гордо сказала Мальчишка и всю свою армию променяла на слабое существо, которое никто не любил.

И началась действительно война.

С утра до ночи деревенские мальчишки преследовали своего командира. Дразнили козлятницей, бросали в нее комками глины, грозили заколоть козленка.

Мальчишка боялась даже на минуту оставить без присмотра бедное животное. А вдруг правда заколют? И ее сильно побьют. Ванька Молчанов уже два раза стукнул козленка палкой, подкравшись сзади.

Мальчишка прятала козочку в пустой собачьей будки, но соседи, услышав меканье, выселили ее с незаконной жилплощади.

Через неделю тетя писала родителям Мальчишки:

«Приезжайте за Люськой, Христа ради. Заберите ее с козой или без, я больше терпеть такое не буду. Спят вместе, едят тоже. Пипуныровы козу выгнали, а Люся просит, чтобы я ее взяла, да зачем мне она нужна, безмолочная-то? Да и, может, больное какое животное, взрослая уже козица, а видом как дитя малое. Может и Люся через нее заразу примет и тоже расти перестанет. Опять же мальчишки, черти окаянные, на Люсю ругаются, нас на козу променяла, проходу девке не дают. Дак приезжайте скорее, а то не знаю, что и делать».

Через два дня по тряской дороге автобус увозил Мальчишку в сторону города. За автобусом аккуратными ножками семенила карликовая коза и жалобно кричала:

— Ме-ме! Ме-ме!

Было похоже, как малыш звал маму. Небольшие коричневые глазки козочки, формой напоминающие ольховые листья, неизвестно отчего слезились, казалось, она плакала.

Козочка все больше отставала от автобуса, где за задним стеклом, забрызганным грязью, виднелось насупленное лицо Мальчишки с мокрыми конопушками.

Стоя на обочине дороги, молча провожали Мальчишку деревенские пацаны, бойцы ее славного отряда.

ПОЧЕМУ РАЗВОДЯТСЯ ПАПА С МАМОЙ

Я обрызгала тетю нечаянно, просто пробегала мимо и нечаянно пробежала по луже, и тетя сердито сказала:

— Девочка, осторожнее!

Я взглянула на нее и не догадалась извиниться, а папа с мамой, которые шли впереди, услышали, и мама обернулась и сказала:

— Извинись сейчас же!

А папа сказал:

— Извинись сейчас же,— и он остановился и стал смотреть, как я буду извиняться. А мне было уже стыдно извиняться, потому что я тетю давно обрызгала, она уже ушла вперед, а если извиняться, то сразу. Тогда папа сказал, что я бессовестная и чтобы не смела с ними идти, а убиралась вперед. А мама сказала, что правда, пусть я иду вперед, а то смешно: она несет подушку, и я несу подушку, и что две подушки — это смешно. Как будто я, а не она купила эти подушки.

Я не хотела идти вперед, пусть тогда Вовка тоже идет вперед, а то чего он с ними, а я нет.

Тогда папа меня подтолкнул, и я пошла, только чего он толкается.

Я шла впереди, и все на них оглядывалась, а мама махала мне рукой, чтобы я шагала дальше со своей подушкой. Я дошла до дома, зашла в подъезд и стала ждать их на втором этаже у окна, потому что тоже с ними хочу, а не только Вовка. Но мама с улицы увидела, что я стою у окна, и опять замахала, чтобы я поднималась.

Когда мы вошли в квартиру, мама стала разбирать по частям мое поведение. В магазине я им мешала. Перед тетей не извинилась. Не хотела нести подушку.

Тогда папа закричал, что я лентяйка, раз не хотела нести подушку. А я хотела нести подушку, просто один разочек попросила папу подержать ее. Но папа не стал держать, а я взяла и назвала папу лентяем. А мама мне объяснила, что папа мужчина и подушку держать стесняется.

Сейчас папа вдруг вспомнил, что на улице я назвала его лентяем, и очень рассердился.

— Лентяй!— закричал он.— Я, между прочим, деньги зарабатываю!

И он чуть-чуть меня стукнул.

Я стояла и молчала. Мама с Вовкой раздевались рядом и тоже молчали. А папа все кричал, что я лентяйка и что невоспитанная, раз не извинилась перед тетей. А потом папа взял подушку со скамеечки в прихожей и бросил ее в меня. Я все равно молчала, хотя я люблю поспорить. Но я уже не могла ничего говорить, потому что в горле что-то сидело и мешало спорить.

И тут вдруг стала кричать мама. Я испугалась, что она кричит на меня, но потом поняла, что она кричит не на меня, а на папу.

что он не имеет права кидать в меня подушкой. И вообще не имеет права трогать.

Я поскорее ушла в детскую, и Вовка тоже. Он стал меня очень жалеть. Он гладил меня по голове, привстав на носочки, и говорил, чтобы я не плакала, хотя я не плакала, просто в горле что-то мешало.

А потом я услышала что-то звонкое, и мама закричала, что это пощечина за дочь, раз я еще не могу постоять за себя.

И тут начался крик папы и мамы, и они друг друга по-нехорошему ругали, и папа назвал маму собакой.

Тогда Вовик выбежал из детской и закричал, что если мама — собака, то папа — кошка. Но папа Вовке ничего не ответил, а продолжал кричать на маму.

А потом мы оделись и ушли, взяв всякие вещи. И мама сказала, что теперь они с папой никогда не помирятся, и что мы куда-нибудь уедем.

— А ты разрешишь мне с папой переписываться? — спросила я.

Мама сказала, что разрешит.

Утром тетя Света, у которой мы ночевали, спросила меня, почему я всю ночь плакала. Я ответила, что не плакала, просто простыла и поэтому шмыгала носом.

Я плакала потому, что во всем виновата я. Надо было молча держать эту подушку. И перед тетей извиниться. И в магазине не мешать.

ЖЕРТВА ЭКСПЕРИМЕНТА

Папа шестиклассника Саньки Рогожкина был лысым. Ну совершенно! И это в его молодые тридцать шесть лет. Однажды в автобусе какая-то малолетняя пассажирка с бантиками обозвала его дедушкой да еще и место хотела уступить. Санька расстроился. У него даже руки зачесались — так хотелось оборвать пассажирке бантики.

— Не очень-то приятно быть дедушкой в тридцать шесть лет,— говорил папа, грустно улыбаясь.

Он гладил свою блестящую, как шар, голову и вздыхал.

Маме тоже не нравилась папина лысая голова. Как-то она сказала, что знай она, как быстро папа полысеет, не вышла бы за него замуж. Сказала, конечно, в шутку, даже Санька это понял. Папа посмеялся, но потом вовсе загрустил.

— Нет ничего глупее, друг мой Санька, чем быть лысым,— сказал он.

Санька так переживал за папу, что незаметно для себя стал

…завистью поглядывать на всех волосатых пап и даже осуждать тех, кто носил слишком уж буйные шевелюры. «Ишь,— ворчал он,— отрастили! А про лысых, наверно, и не подумают»...

И вот однажды в Санькину голову пришла идея: надо изобрести средство от облысения.

Санька записался в школьный химический кружок и день за днем упорно смешивал одни вещества с другими в самых невероятных комбинациях. Допоздна он что-то растирал, разбалтывал, подогревал, размешивал...

Санька жалел, что в химический кружок не приняли ни одного лысого. Нет, их конечно взяли бы, но они не просились. Так что препараты Санька испытывал на себе. Иногда все обходилось, а иной раз Санька по нескольку дней не мог оттереть подбородок, который становился то синеватым, то зеленоватым, а то вдруг розовым в желтый горошек. Были, конечно, неприятности, но Санька все сносил ради своей мечты.

Однажды он особенно долго возился над мазью. Она вышла ярко-зеленого цвета. Тяжело вздохнув, он мужественно помазал ею подбородок. Вынул из кармана зеркальце, с которым не расставался и долго в него смотрелся. Ничего на подбородке не росло, только кожа слегка зудела.

На следующий день после звонка на первый урок, когда все не только расселись по своим местам, но даже успокоились, в дверь шестого «а» просунулась голова с отвратительной рыжей бородой. Борода торчала неровными клочками и по бокам закручивалась колечками.

— Вам кого?— строго спросила учительница ботаники Оксана Петровна.

— Можно войти?— сказал бородатый тип испуганным Санькиным голосом.

— Рогожкин, что за маскарад?— закричала учительница.— Сейчас же убери эту гадость!

Санька всхлипнул:

— Она... она не убирается.

— Нет, вы посмотрите на него!— Оксана Петровна теряла терпение.— Сними немедленно эту паклю, а то я отправлю тебя к директору!

— Не снима-ается!— вовсе заныл Санька и утер нос кончиком бороды.

Тут класс опомнился и грохнул со смеху.

— Эй, Рогожкин, чем клеил?— громче всех кричал Толька Малыгин.— Эпоксидкой?

— Нет, вы только посмотрите!— учительница шагнула к Саньке и довольно неаккуратно дернула его за бороду.

— Ой!— завопил тот.— Больно!

Оксана Петровна сделала круглые глаза.

— Потря... потря...— она даже побледнела.— ...сающе!

С опаской пройдя мимо Саньки, она кинулась вон из класса.

Медсестра Тамара Федоровна прибежала в ту минуту, когда Санька выл от боли: каждый желал убедиться, что борода настоящая. Толька Малыгин убеждался дольше всех.

— Тамара Федоровна, это, это...— бормотала перепуганная учительница.— Вы не поверите.

— Посмотрим, посмотрим,— озабоченно сказала Тамара Федоровна, приближаясь к Саньке не то, чтобы с опаской, но как-то бочком.— Бывает, бывает... Я думаю, для начала сбрить. Да, да, именно сбрить. А там дальше понаблюдаем, возможно, стационар...

— Диетическое питание,— подсказала Оксана Петровна.

— Возможно, возможно... обязательно.

— Где я брить буду?— шмыгнул носом Санька.

— В парикмахерской, разумеется. Детской. Нет, детская не возьмется. Пойдешь во взрослую.

— Не пойду!— замотал головой Санька.— Я в школу-то еле пробрался, чтоб никто не видел.

— Вам надо решиться,— терпеливо сказала Тамара Федоровна, невольно перейдя на «вы» — из-за бороды, конечно.— Я вас провожу.

— Не пойду,— заныл Санька.— Смеяться будут!

— Настоящий пионер не должен бояться сбривать бороду,— пришла на выручку Оксана Петровна.

Весть о Санькиной бороде быстро разнеслась по школе. На перемене в класс заходили поодиночке, толпами и организованными экскурсиями.

Санька стоял в углу класса затравленный и не знал, куда бежать.

Одни смотрели на Саньку со страхом, другие с любопытством, третьи твердили, что это шарлатанство.

На урок математики вместе с учительницей Кирой Николаевной в кабинет решительно вошел директор и не очень решительно — завуч, а совсем робко — старшая пионервожатая.

— Что тут у вас?— спросил директор.

— У нас борода,— сказал Толька Малыгин.

— Так.— Директор осуждающе посмотрел на Санькину паклю.— Уже до бороды докатились.

— Вот именно!— поддакнула завуч.— Дальше, по-моему, некуда.

— А ведь ты пионер, Рогожкин,— покачала головой старшая пионервожатая.

— Вы проверяли, действительно, настоящая?— спросил у ребят директор.

— Да, дергали!— закричали ребята.

— Плохо дергали!— сказал директор и решительно направился к Саньке.

— А-а!— заорал Санька и пулей вылетел из класса.

Он добежал до ближайшего телефона-автомата и позвонил отцу на работу.

— Пап, я нашел средство! — заговорил он, всхлипывая.— У меня выросла борода.

Папа почему-то не удивился. Он вздохнул в трубку и грустно сказал:

— Пускай растет, друг мой Санька.— И вдруг, словно опомнившись, закричал: — Как? Серьезно? Нашел средство? Хорошо растет?

— Клочками,— всхлипнул Санька.

— Ничего! — бодро сказал папа.— Поздравляю! То есть... у тебя сбреем. Беги домой, я сейчас выезжаю!

Папа был веселым, каким Санька его не помнил. Он сначала натер свою блестящую голову ядовито-зеленой мазью, а потом взялся за ножницы.

— Это, мой друг Санька, твой первый научный подвиг! — горделиво сказал он, позвякивая ножницами.— Ты не переживай, я тебе свою электробритву подарю.

Наутро голову Рогожкина-старшего украшала великолепная рыжая шевелюра. Он не отходил от зеркала, опоздал на работу и все спрашивал у мамы:

— Ну, как?

От радости папа целый год не ходил в парикмахерскую, очень часто смотрелся в зеркало и спрашивал у своего отражения:

— А? Что?

Саньке же электробритва не понадобилась. Борода у него не росла еще целых семь лет.

СОДЕРЖАНИЕ

Габова Е. В.
Г 12 Тайкина тайна: Повесть и рассказы.— Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1991.— 176 с.
ISBN 5-7555-0274-9

Первая любовь, несправедливость взрослых, непонимание родных — со всем этим часто сталкиваются герои рассказов Елены Габовой. Мир в ее произведениях узнаваем и в то же время возвышенно романтичен, наполнен тонким психологизмом, стремлением к прекрасному.

84Р7-4

Для детей старшего и среднего школьного возраста

Елена Васильевна Габова

(Столповская)

ТАЙКИНА ТАЙНА

Повесть и рассказы

Редактор *А. В. Тентюков.*
Художник *Т. В. Васильева.*
Художественный редактор *В. Б. Осипов.*
Технический редактор *А. Н. Вишнева.*
Корректор *М. М. Лужикова.*

ИБ № 1579

Сдано в набор 19.07.90. Подписано к печати 13.11.90. Формат 70×90[1]/16. Бумага № 1. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Усл. печ. л. 12,87. Усл. кр.-отт. 13,16. Уч.-изд. л. 12,19. Тираж 15 000. Заказ № 7138. Цена 50 к. Коми книжное издательство. 167610, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса.

Головное предприятие Коми республиканского полиграфического производственного объединения. 167610, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70.

50 к.

КОМИ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1990



PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190